

СЕВЕРНЫЙ СФИНКС
ПАРЯ ВЕЯН

БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ
Чудовища

18+

Сфинкс Северный

БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ : Чудовища

«Автор»

2026

Северный С.

БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ : Чудовища / С. Северный — «Автор», 2026

Из океана поднимаются новые материки, полные платины, — и державы бросаются их делить. Учёные доказывают: бурение раскалывает Землю и грозит вымиранием. Доклады засекречивают, а добычу ускоряют. Люди из параллельного мира не умеют лгать и убивать, они спасают тех, кто сносит их дома. Тык кто же чудовища?

© Северный С., 2026

© Автор, 2026

Лара Вейн, Сфинкс Северный **БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ : Чудовища**

Часть первая. Материк

Глава 1. Птицы с юга

Двести с лишним лет назад остров Питкэрн значился на картах не там, где был на самом деле, — и именно поэтому на нём жили люди.

Сэмюэл Маккой знал эту историю так, как другие знают молитву. Его прапрапра — он сбивался, сколько раз «пра», — прадед был одним из тех, кто в тысяча семьсот восемьдесят девятом году взбунтовался на корабле его величества «Баунти», высадив капитана Блая с восемнадцатью верными людьми в открытую шлюпку посреди Тихого океана и ушёл искать место, где их не найдут. Флетчер Кристиан, вожак мятежников, перебирал острова, как перебирают карты в колоде. Таити — слишком близко, туда придут за ними первыми. Тубуаи — местные оказались неприветливы. А потом, в капитанской каюте, среди книг Блая, он нашёл описание острова, который двадцать с лишним лет назад мельком видел английский мореплаватель Картерет. Маленький. Скалистый. Необитаемый. И — нанесённый на карту с ошибкой. Картерет промахнулся с долготой почти на три градуса. На двести с лишним морских миль.

Остров, которого нет там, где он есть.

Кристиан нашёл его в январе тысяча семьсот девяностого года. Мятежники и их таитянские жёны сгрузили на берег всё, что могли унести, — свиней, кур, семена, инструменты, книги, — а потом сожгли «Баунти» прямо в бухте. Чтобы никто не мог уйти. Чтобы никто не мог найти.

Их нашли через восемнадцать лет. Американское промысловое судно, случайно. Из пятнадцати мужчин, которые высадились на остров, в живых к тому времени остался один.

Остальное — двести с лишним лет — было историей о том, как люди учились жить на клочке скалы в пять квадратных километров посреди самого пустого океана на Земле. Ближайший обитаемый остров — пятьсот километров. Ближайший материк — больше пяти тысяч. Корабль с продуктами — раз в три месяца. Интернет — через спутник, медленный, дорогой. Сорок жителей. Иногда тридцать пять. Иногда — меньше. Маленькая белая церковь. Маленькая школа, где в иные годы учились двое детей. Мёд, который продавали по всему миру как самый чистый на свете, потому что на Питкэрне никогда не было пчелиных болезней. Длинные лодки, которые спускали на воду всем островом. Своё наречие — смесь старого английского и таитянского, на котором старики ещё говорили между собой.

Сэмюэлу Маккою был шестьдесят один год. Он держал пчёл, водил длинную лодку и знал море вокруг острова лучше, чем собственный дом. Он знал, откуда приходит зыбь в каждом месяце. Какого цвета вода перед штормом. Каких птиц и когда ждать. Какие течения несут к Питкэрну мусор с другого конца океана — пластиковые бутылки с японскими надписями, обрывки сетей, однажды — целый холодильник.

Поэтому он первым понял, что с морем что-то не так.

* * *

Это началось в ночь на шестнадцатое мая. В три часа ночи по местному времени.

Сэмюэл проснулся от того, что мир вздохнул.

Он не мог потом объяснить это иначе. Ни внучке, ни старому Тому Уоррену, ни священнику, ни журналистке из Новой Зеландии, которая позже звонила ему по спутниковому телефону и задавала одни и те же вопросы. Он лежал в темноте, в своём доме над Адамстауном, — и вдруг стало тяжелее. Как будто на грудь положили тёплую ладонь. Уши заложило, как при нырке. А потом — отпустило. Почти. Осталось что-то. Едва заметное.

И стало слышно море.

Обычно ночью море на Питкэрне слышно всегда — остров маленький, крутой, прибой бьёт о скалы со всех сторон. Сэмюэл не замечал его, как не замечают собственного дыхания.

А в ту ночь — услышал. Как будто кто-то на секунду выключил все остальные звуки, а потом включил обратно — но море оставил чуть громче. Чуть ближе. Чуть по-другому.

Он встал. Вышел на веранду. Ночь была ясной, безлунной. Звёзды — тысячи, как всегда здесь, где на пятьсот километров вокруг нет ни одного фонаря. Южный Крест — низко над горизонтом, на юге. Млечный Путь — через всё небо.

Он постоял. Послушал. Ничего не понял. Вернулся в постель.

Утром, по спутниковому радио, он узнал, что этот вздох почувствовал весь мир. Восемь миллиардов человек. Одновременно. И что в Москве, в Мадриде, в Бангкоке, в сотнях городов заброшенные стройки за двадцать секунд превратились в белые дома. Такие же, как те, что стояли в парках и на пустырях с февраля.

На Питкэрне заброшенных строек не было. На Питкэрне ничего не строили зря — на это не было ни места, ни денег. Белых домов на Питкэрне не появилось ни в феврале, ни сейчас. Остров был слишком маленьким. Слишком занятым. На нём не было пустых мест.

Сэмюэл выключил радио и пошёл к пчёлам.

* * *

На третий день пришла зыбь.

Сэмюэл увидел её с утра, когда спускался по Трудному Холму — так называли крутую дорогу от Адамстауна к Высадке, к бетонному причалу в бухте Баунти, где стояли длинные лодки. Он спускался каждый день — проверить лодки, посмотреть на воду, поговорить с теми, кто тоже приходил посмотреть на воду. На Питкэрне все приходили посмотреть на воду.

Зыбь шла с юга.

В мае зыбь на Питкэрне шла с юго-запада — от зимних штормов в Южном океане. Длинная, тяжёлая, ровная. Сэмюэл знал её всю жизнь. А эта — шла почти ровно с юга. Короче. Чаше. И — он долго стоял на причале, глядя на неё, и не мог понять, что ещё не так, — и тише. Волны приходили к скалам и разбивались — но без того глухого удара, от которого вздрагивает бетон под ногами. Как будто там, на юге, их кто-то гасил. Пропускал через сито.

— Ты видишь? — спросил Том Уоррен. Он стоял рядом. Восемьдесят два года, сухой, жилистый, коричневый от солнца, — он водил длинную лодку, когда Сэмюэл ещё не родился.

— Вижу.

— С юга.

— С юга.

— С юга ничего нет, Сэм, — сказал Том. — С юга — до самого льда — ничего. Полторы тысячи миль пустой воды. Там, где точка Немо. Где спутники топят.

Сэмюэл кивнул. Он знал. Все на Питкэрне знали. Точка Немо — океанский полюс недоступности, самое удалённое от суши место на Земле — лежала к югу от них. Ближайшей к ней сушей был атолл Дюси, необитаемый, в пятистах километрах к востоку от Питкэрна, — их атолл, они ходили туда на лодках за птичьими яйцами, когда были мальчишками. Две тысячи семьсот километров от Дюси до точки Немо. Ничего между. Пустая вода, ветер, альбатросы.

— Шторм, — предположил Сэмюэл.

— Нет шторма, — сказал Том. — Я слушал прогноз. Чисто до самой Антарктиды.

Они стояли на причале и смотрели, как с юга идут короткие, тихие, неправильные волны.

* * *

На четвёртый день прилетели птицы.

Их увидела Лили — внучка Сэмюэла, девяти лет, самая младшая из двух детей на острове. Она прибежала на пасеку, запыхавшись, красная, с расцарапанной коленкой, и закричала ещё издали:

— Дедушка! Дедушка, там птицы! Новые!

Сэмюэл знал всех птиц Питкэрна. Их было немного. Фрегаты — чёрные, с раздвоенными хвостами, висящие над скалами. Глупыши. Крачки — белые, лёгкие, похожие на бумажных

журавликов. Фаэтоны с длинными красными перьями в хвосте. Питкэрнская камышовка — маленькая, серо-зелёная, крикливая, — она жила только здесь и больше нигде в мире.

Новых птиц на Питкэрне не было. Не могло быть. Пятьсот километров открытого океана — это слишком много для любой птицы, которая не создана для моря.

Он пошёл за Лили.

Они сидели на старом хлебном дереве за школой. Штук двадцать. Серые. Пушистые. С длинными хвостами — длиннее тела, прямыми, как у сорок, но мягкими, как будто из пуха. С маленькими круглыми головами. Они сидели на ветках тесно, бок о бок, распушившись, — как сидят птицы после долгого перелёта, когда нет сил даже чистить перья.

Сэмюэл стоял под деревом и смотрел на них.

Он видел таких птиц. По телевизору. По спутниковому каналу, который ловили в общем доме по вечерам. В репортажах из Москвы, из Мадрида, из Бангкока. Над белыми домами. Над их дворами. Над садами с невозможными деревьями.

Серые. Пушистые. Длиннохвостые.

— Откуда они, дедушка? — спросила Лили шёпотом.

Сэмюэл не ответил. Одна из птиц — ближняя, на нижней ветке — повернула голову и посмотрела на него. Глаз был тёмный, круглый, спокойный. Без страха. Она смотрела на человека так, как будто никогда не видела человека — и не знала, что людей надо бояться.

Потом птица запела. Тонко, переливчато, незнакомо.

— С юга, — сказал Сэмюэл. — Они прилетели с юга.

* * *

На пятый день, двадцатого мая, море принесло листья.

Сэмюэл увидел их на рассвете, с Трудного Холма. В бухте Баунти, у самого причала, на тёмной воде лежало что-то светлое. Много. Он сначала решил — мусор. Пена. Пластик. Потом спустился.

Это были листья.

Тысячи. Плавали у причала, в тихой воде под скалами, колыхались на волне. Веерообразные, похожие на раскрытые ладони или на маленькие японские веера, с тонкими расходящимися прожилками. Светло-зелёные, свежие, как будто их только что сорвали с дерева. А между ними — цветы. Крупные, белые, похожие на тюльпаны, с толстыми восковыми лепестками. Цветы плыли, как маленькие лодочки, и пахли — Сэмюэл почувствовал это, когда наклонился к воде, — чем-то сладким, медовым. Как липа. Только тоньше.

Он выловил один лист. Поднёс к глазам.

Гинкго.

Он знал это дерево. Видел его однажды в Окленде, в ботаническом саду, когда в молодости ездил в Новую Зеландию. Табличка рядом с деревом говорила: «Живое ископаемое. Единственный уцелевший вид древнего порядка. Существует двести семьдесят миллионов лет. В дикой природе почти исчез». Он тогда постоял возле него, потрогал кору. Старое дерево. Одинокое. Последнее в своём роде.

А теперь его листья плыли к Питкэрну с юга. Тысячами. Свежие.

Сэмюэл стоял на причале, держа в руке зелёный веер, и смотрел на юг. На пустой горизонт. На короткие, тихие, неправильные волны.

За его спиной собирались люди. Том Уоррен. Священник, отец Дэвид. Мэри Браун из магазина. Двое молодых парней, которые только что вернулись с рыбалки. Лили. Ещё кто-то. Почти весь остров — двадцать человек, может быть, больше, — стояли на бетонном причале в бухте Баунти и смотрели, как вода у их ног покрыта листьями дерева, которое не росло нигде в радиусе пяти тысяч километров.

— Там что-то есть, — сказал Том Уоррен. Тихо. Как говорят в церкви. — На юге. Там что-то появилось.

Никто не ответил.

Сэмюэл смотрел на юг. И вдруг вспомнил. Не историю, которую знал наизусть. Другое. То, что ему рассказывал его дед, — а деду его дед, — а тому кто-то ещё, и так до самого начала.

Как Флетчер Кристиан стоял на палубе «Баунти» и смотрел на горизонт, где должен был быть остров. Где по карте ничего не было. Где ничего не было видно. Две недели. Три. Люди роптали. Говорили — нет никакого острова. Картерет ошибся. Или соврал. Надо поворачивать.

А Кристиан смотрел. И однажды на рассвете увидел над горизонтом облако. Одно-единственное. Неподвижное. Стоящее на месте, когда все остальные облака плыли.

Над островом всегда стоит облако. Над сушей, нагретой солнцем, поднимается тёплый воздух — и собирается облако. Над открытым морем такого не бывает. Старые мореплаватели — полинезийцы, которые заселили весь Тихий океан задолго до европейцев, — находили острова за сотни миль по таким облакам. По птицам, которые вечером летят к берегу. По зелёным отсветам на нижней стороне облаков — от лагун. По плавающим листьям и ветвям.

По листьям.

Сэмюэл посмотрел на горизонт. На юг.

Там, низко над водой, у самой линии, где небо сходилось с морем, стояла гряда облаков. Ровная. Неподвижная. Белая сверху и чуть зеленоватая снизу.

Облака над сушей.

* * *

Вечером в общем доме спорили до полуночи.

Сорок человек — все, кто был на острове, — сидели на деревянных скамьях вокруг длинного стола. Горела одна лампа — генератор берегли. На столе лежали листья гинкго — Лили собрала целый ворох, разложила рядами, как гербарий. И один цветок. Белый, восковой. Он не вял. Прошло двенадцать часов — а он лежал на столе такой же свежий, как утром, и всё так же пах мёдом.

— Надо сообщить в Веллингтон, — сказала Мэри Браун. Она была советником острова — что-то вроде мэра. — Губернатору. Пусть пришлют корабль. Военный. С учёными.

— Через сколько? — спросил Том Уоррен. — Через месяц? Через два?

— Сколько надо.

— А за месяц туда придут другие, — сказал один из молодых, Джош. — Ты видела новости, Мэри? Ты видела, что они сделали в Неваде? На Новой Земле? Американцы, русские, китайцы. Три ядерные бомбы. На три дома. Просто потому что смогли. — Он помолчал. — Если там, на юге, правда что-то есть — первыми туда придут они. С флотом. С бомбами.

— А мы что можем? — спросила Мэри. — Нас сорок человек. У нас три длинные лодки и один катер.

Тишина.

Сэмюэл молчал. Он сидел в конце стола и смотрел на белый цветок.

— «Сильвер Саппортер», — сказал он наконец.

Все повернулись к нему.

«Сильвер Саппортер» — грузовое судно, которое раз в три месяца приходило к Питкэрну с Мангаревы, из Французской Полинезии. Привозило продукты, почту, топливо, иногда — гостей. Увозило мёд, сувениры, тех, кому нужно было к врачу. Пятьдесят метров стали, старый дизель, капитан — Роберт Андерсон, новозеландец, двадцать лет на этой линии. Он должен был прийти через неделю.

Нет. Сэмюэл посмотрел на календарь на стене. Через четыре дня. Двадцать четвёртого.

— Андерсон пойдёт, — сказал Сэмюэл. — Если попросим. Я его знаю. Он пойдёт.

— Куда? — спросила Мэри.

Сэмюэл посмотрел на неё. Потом — на окно. Там, в темноте, за окном, на юге, за двумя с половиной тысячами километров пустой воды, стояла гряда облаков, которую нельзя было увидеть ночью. Но он знал, что она там.

— Посмотреть, — сказал он. — Просто посмотреть. Кто-то должен посмотреть первым. До того, как придут с бомбами. Кто-то, кто не будет стрелять.

Отец Дэвид, священник, поднял голову.

— Сэмюэл, — сказал он мягко. — Мы не знаем, что там.

— Не знаем, — согласился Сэмюэл. — Двести тридцать восемь лет назад наши прадеды тоже не знали, что здесь. Они плыли к острову, которого не было на карте. — Он помолчал. — Они бежали, отец. От закона. От виселицы. От того, что сделали. Они сожгли корабль, чтобы никто не мог уйти. А потом убивали друг друга десять лет — из-за женщин, из-за земли, из-за самогона из корней ти. Из пятнадцати мужчин выжил один. Один. Джон Адамс. И он нашёл в сундуке Библию с «Баунти» и научил детей читать по ней. И остров стал тем, чем стал. — Сэмюэл обвёл взглядом стол. Сорок лиц. Знакомых до последней морщины. — Мы — потомки людей, которые пришли на пустое место и чуть не уничтожили друг друга, потому что не умели жить иначе. Мы знаем, как это бывает. Лучше, чем кто-нибудь в мире.

Он взял со стола белый цветок. Осторожно. Двумя пальцами.

— Если там, на юге, кто-то живёт, — сказал он, — пусть первыми их увидят не солдаты. Пусть первыми их увидят люди, которые знают, чем кончается, когда приходишь с оружием.

Долгая тишина.

Потом Том Уоррен — восемьдесят два года, сухой, жилистый — встал. Опираясь на стол обеими руками.

— Я пойду, — сказал он.

— Том, тебе восемьдесят два, — сказала Мэри.

— Именно, — сказал Том. — Мне уже ничего не страшно.

* * *

«Сильвер Саппортер» пришёл двадцать четвёртого, на рассвете. Капитан Андерсон — грузный, рыжебородый, в выпетшей фуражке — выслушал Сэмюэла на причале, глядя не на него, а на листья гинкго, всё ещё плававшие в бухте. Потом на юг. На гряду облаков.

Он молчал долго.

— Сэм, — сказал он наконец. — У меня судно. Груз. Расписание. Компания. Страховка. Если я уйду на юг, в Южный океан, с грузом на борту, без разрешения, — меня уволят. Если что-нибудь случится — меня посадят.

— Я знаю, Роб.

— Ты понимаешь, что это — две с половиной тысячи километров? Туда — и обратно? Это неделя. Топлива у меня — впритык.

— Не две с половиной, — сказал Сэмюэл. — Меньше.

Андерсон посмотрел на него.

— Облака, — сказал Сэмюэл. — Над сушей стоят облака. Вон. Видишь? Если они видны отсюда — значит, до суши не больше нескольких сотен километров. Иначе их не было бы видно за горизонтом. — Он помолчал. — Роб. Оно растёт. Оно растёт к нам.

Андерсон смотрел на облака. Ровную белую гряду над южным горизонтом, чуть зеленоватую снизу. За ночь она стала выше. Сэмюэл видел это. Андерсон, моряк с тридцатилетним стажем, — тоже.

— Чёрт, — сказал капитан тихо. — Чёрт тебя побери, Маккой.

* * *

Они вышли в полдень. Андерсон. Его команда — шесть человек, все новозеландцы и полинезийцы с Мангаревы. Сэмюэл. Том Уоррен. Джош — молодой, который говорил про бомбы. И отец Дэвид — он сказал, что если там кто-то есть, то кто-то должен сказать им «здрав-

стуйте» так, чтобы они поняли: это не угроза. «Я не знаю как, — сказал он. — Но я двадцать лет говорю „здравствуйте“ людям, которые не знают английского. Как-нибудь получится».

Лили стояла на причале с матерью и махала. Сэмюэл махал ей в ответ, пока остров не стал маленькой тёмной скалой на горизонте, а потом — точкой, а потом — ничем.

Они шли на юг.

Море было странным. Тихим. Зыбь — короткая, приглушённая — шла навстречу, и судно резало её мягко, почти без качки. Вода меняла цвет. Сначала — обычная, тёмно-синяя, океанская. Потом, к вечеру, — чуть зеленее. Как у берега. Как над отмелью.

Андерсон сидел на мостике, глядя на эхолот, и молчал.

— Сэм, — позвал он ближе к ночи. — Иди сюда.

Сэмюэл поднялся на мостик. Андерсон показал на экран эхолота.

— Глубина, — сказал он. — Здесь, по карте, — три тысячи восемьсот метров. Абиссальная равнина. Плоское дно, ил, пустота.

На экране была цифра. Сэмюэл посмотрел на неё. И не понял.

Сто сорок метров.

— Это ошибка, — сказал он.

— Я тоже так думал, — сказал Андерсон. — Два часа назад было шестьсот. Час назад — триста. Сейчас — сто сорок. — Он помолчал. — Это не ошибка, Сэм. Мы идём вверх. По склону. Как по пляжу, только длиной в двести километров.

Они смотрели на экран. Сто тридцать восемь. Сто тридцать пять.

— И ещё, — сказал Андерсон. — Посмотри на сигнал.

Сэмюэл посмотрел. Он не очень понимал в эхолотах. Но даже он видел: отражение от дна было странным. Не чёткой линией — размытым. Двойным. Как будто дно было там — и не совсем там. Как будто звук отражался от чего-то, что было наполовину твёрдым.

— Как от тени, — сказал Андерсон. — Я тридцать лет хожу по морю. Я никогда такого не видел. Дно — как будто ещё не решило, есть оно или нет.

* * *

Они увидели берег на рассвете двадцать шестого мая.

Сэмюэл не спал. Он стоял на носу, держась за леер, и смотрел вперёд. Рядом стоял Том. Чуть дальше — отец Дэвид, кутаясь в куртку: ночью на этих широтах было холодно, почти зима. Джош спал на палубе, завернувшись в одеяло.

Небо на востоке светлело. Медленно. Серым, потом жемчужным, потом розовым. И в этом розовом свете впереди, прямо по курсу, проступила линия.

Тёмная. Ровная. Во весь горизонт.

Суша.

Том Уоррен рядом с Сэмюэлом медленно снял шляпу. Прижал её к груди.

Свет прибывал. Линия становилась чётче. Выше. Сэмюэл видел — это были деревья. Лес. Высокий, густой, тёмный. Стоял над водой стеной, от края до края горизонта. Над ним — облака, белые, неподвижные, те самые, которые он видел с Питкэрна. А под облаками, над лесом, — птицы. Тысячи. Серые. Длиннохвостые. Кружили, поднимались, опускались.

Судно шло медленно. Андерсон сбросил ход до самого малого. Эхолот показывал двадцать метров. Пятнадцать. Десять.

— Стоп машина, — сказал Андерсон по связи. Голос у него был хриплым. — Стоп. Отдать якорь.

Загремела цепь.

Они стояли в полукилометре от берега. Солнце поднялось над горизонтом — и залило лес золотым.

И тогда Сэмюэл увидел то, чего не видел ещё никто на Земле.

Лес стоял в воде.

Не у воды — в воде. Деревья поднимались прямо из моря. Высокие, прямые, с веерообразными листьями — гинкго, огромные, в тридцать метров. Тёмные ярусные конусы хвойных. Рощи беннеттитов с белыми цветами. Папоротники. И волны — короткие, тихие, приглушённые волны — шли сквозь них. Не разбивались о стволы. Не огибали их. Проходили насквозь. Как сквозь дым. Как сквозь отражение.

Лес был прозрачным.

Не совсем. Наполовину. Сэмюэл видел сквозь стволы — смутно, как сквозь мокрое стекло, — дальние деревья, и воду за ними, и утреннее небо. Как будто кто-то нарисовал лес на стекле и поставил это стекло посреди моря. И стекло с каждой минутой становилось чуть менее прозрачным. Чуть плотнее. Чуть — здешнее.

— Сорок процентов, — сказал Андерсон за спиной. Тихо. — По телевизору говорили. Дома в феврале появлялись так же. Сначала — сорок процентов. Потом — больше. Каждый день — больше.

Сэмюэл не ответил.

Он смотрел на берег. На полосу, где прозрачный лес выходил из прозрачной воды. Там, у самой кромки, над водой, поднимался холм. Невысокий, пологий. Тоже полупрозрачный. А на холме, среди деревьев, — белое.

Стены.

Белые, гладкие, светящиеся изнутри мягким светом — даже на рассвете, даже против солнца. Шесть этажей. Арка. Над стенами — пар, лёгкий, тёплый.

И дальше — ещё. На соседнем холме. И ещё — за ним. В правильном, ровном порядке, как соты, уходящие вглубь берега, за лес, за горизонт.

Город.

А над городом, на самом высоком холме, — башня. Белая, круглая, с куполом. Купол был открыт. В щели что-то блестело — длинное, белое, направленное в небо.

Телескоп.

Отец Дэвид рядом с Сэмюэлом перекрестился. Медленно. Губы его шевелились, но слов не было слышно.

Том Уоррен плакал. Молча. Восемьдесят два года — и слёзы текли по коричневым, изрезанным морщинами щекам, а он не вытирал их, только прижимал шляпу к груди.

Джош проснулся. Сел на палубе, в одеяле. Посмотрел на берег. И сказал шёпотом — единственное, что смог:

— Они не знают, что мы здесь. Они ещё не знают.

* * *

Андерсон спустил шляпку в девять утра.

Пошли четверо. Сэмюэл, отец Дэвид, Джош. И Том — его пытались отговорить, он не стал слушать. Андерсон остался на судне. «Кто-то должен остаться, — сказал он. — Если вы не вернётесь, кто-то должен рассказать».

Шляпка шла медленно. Джош грёб. Вода становилась светлее, прозрачнее. Под ними, на глубине нескольких метров, — дно. Белый песок. Мелкий. Ровный. Лежащий плавными волнами, как будто его расчесали.

А потом шляпка вошла в лес.

Сэмюэл ждал удара. Ствол гинкго — огромный, в два обхвата — стоял прямо по курсу, и Джош не успел отвернуть. Шляпка шла на него. Ближе. Ближе.

И прошла насквозь.

Без удара. Без звука. Только на мгновение — когда ствол проходил сквозь борт, сквозь Джоша, сквозь Сэмюэла — стало тепло. Как будто их коснулось что-то живое. И пахло — смолой, мёдом, мокрой корой.

Они плыли через лес. Сквозь стволы. Сквозь папоротники. Сквозь низкие ветви беннеттитов, которые проходили через их плечи, через их лица, — и оставляли на коже лёгкое тепло, как от солнечного луча. Над ними в ветвях пели серые птицы. Внизу, под прозрачным лесом, под прозрачной водой, — белый песок.

Шлюпка ткнулась носом в берег.

В песок. Обычный, твёрдый — или почти твёрдый. Нос шлюпки вошёл в него на полметра, мягко, как в мокрую глину, — и остановился.

Сэмюэл выбрался первым. Нога ушла в песок по щиколотку — и остановилась. Тёплый. Песок был тёплым, хотя вокруг была почти антарктическая осень и вода в море не прогревалась выше десяти градусов.

Он стоял на берегу. На краю нового материка. Посреди прозрачного леса.

Первый человек.

За ним выбрался отец Дэвид. Потом Джош. Потом — с трудом, опираясь на руку священника, — Том Уоррен. Он встал на песок. Постоял. Потом медленно опустился на колени. Положил ладони на тёплый песок. И долго так стоял, опустив голову.

— Отец, — сказал он наконец, не поднимая головы. — Скажи что-нибудь. Ты обещал.

Отец Дэвид стоял, глядя на лес. На белые стены на холме. На пар над ними. На башню с телескопом.

Он не знал, что сказать. Он двадцать лет говорил «здравствуйте» людям, которые не знали английского. Но эти люди — если там были люди — не знали ничего. Ни английского, ни полинезийского, ни жестов, ни улыбок. Они не знали даже, что здесь кто-то есть.

Он долго молчал.

Потом сделал единственное, что пришло в голову.

Поднял руку. Открытой ладонью вперёд. Как поднимают руку, когда здороваются изда-лека. Как показывают, что в руке ничего нет.

И сказал — негромко, на старом наречии Питкэрна, которое знали только сорок человек на Земле и которое было смесью английского языка мятежников и таитянского языка их жён:

— Здравствуйте. Мы пришли с миром.

Лес молчал.

Птицы пели. Тёплый песок лежал под коленями Тома. Пар поднимался над белыми стенами на холме.

А потом — Сэмюэл увидел это первым, потому что смотрел туда, на холм, на арку, не отрываясь, — в арке что-то шевельнулось.

Тень. Высокая. Светлая. Неясная, как всё здесь. Как отражение в воде.

Она стояла в арке. Неподвижно.

И смотрела на них.

Глава 2. Песок

Три шестиугольника белого песка облетели мир за одну ночь.

Снимки финской компании перепечатали все газеты, показали все каналы, разослали все мессенджеры. К утру шестнадцатого мая их видел, наверное, каждый человек на Земле, у которого был экран. Серо-бурая арктическая тундра — и светлый круг на ней. Жёлтая невадская пустыня — и светлый круг. Солончаки Лобнора — и светлый круг. А в центре каждого — маленький, чёткий, правильный шестиугольник. Как отпечаток печати на сургуче.

Подписи под снимками были разными. Смотря кто подписывал.

«ПОБЕДА», — писали одни. Огромными буквами, на первых полосах. С флагами. С фотографиями генералов. «Угроза может быть нейтрализована». «Человечество показало, что способно себя защитить». «Объекты уязвимы».

«ЗАЧЕМ?» — писали другие. Тоже огромными буквами. Без флагов. С фотографиями белых домов, освещённых изнутри, и людей у их стен — с цветами, со свечами, с самодельными плакатами.

Илья видел и те, и другие. В телефоне. В телевизоре в Сониной комнате. На экране ноутбука Ветровой. Он перестал смотреть на второй день.

* * *

Он видел другое.

Во дворе в Лосином острове три дня не было вечерней тишины.

Тени не садились. Они стояли — у стен, на галереях, у полного теперь бассейна, в котором отражалось небо, — неподвижно, повернувшись на север. Днём и ночью. Утром и вечером. Не ели — тарелки на столах в столовой оставались нетронутыми, хлеб остывал. Впервые за три месяца — остывал. Илья видел это сам: утром семнадцатого он зашёл в столовую и положил ладонь на поднос. Холодный.

Люди во дворе притихли. Четыреста человек — бездомные, мигранты, старики, матери с детьми, соседи из пятиэтажек, — все, кто жил здесь, ходили на цыпочках. Говорили шёпотом. Дети не бегали. Борис Ефимович снял со стены гирлянды, оставшиеся от свадьбы, и аккуратно сложил их в коробку. Наталья Сергеевна перестала печь пироги.

А по ночам они пели.

Та самая мелодия. Из трёх нот. Медленная, низкая, бесконечная, как прибой. Илья лежал в комнате четыреста шесть и слушал. Хлеба он не ел с пятнадцатого — не мог, — но слышал всё равно. Слышал так, как будто пели за стеной. Негромко. Всю ночь. До рассвета.

На третью ночь, восемнадцатого мая, он не выдержал. Встал. Вышел на галерею. Спустился во двор.

У двери двести двадцать седьмой, на галерее второго этажа, сидел он.

Молодой. Тёмноволосый. В светлой рубахе. Спина к двери, обняв колени. Как сидел пятнадцатого. Как, наверное, сидел каждую ночь с тех пор.

Илья видел его ясно. Не так ясно, как пятнадцатого, на рассвете, когда тот смотрел на него с галереи и в глазах был страх. Чуть хуже. Как будто дымка, которая тогда почти исчезла, вернулась — тонкая, едва заметная. Но лицо было видно. Небритое. Осунувшееся. Глаза — закрыты.

Илья сел на край бассейна. Внизу. Там же, где сидел тогда.

Он не знал, зачем пришёл. Он не знал, что сказать. Он просто сел и стал ждать.

Тот, наверху, открыл глаза. Посмотрел вниз. На Илью.

Страх в глазах не было. Илья видел это. Не было и того, что было пятнадцатого, — вопроса. «Зачем?» Было что-то другое. Усталость. Такая глубокая, что под ней уже ничего не было видно.

Они смотрели друг на друга. Долго.

Потом тот, наверху, медленно кивнул. Едва заметно. Как кивают знакомому, которого видят каждый день.

И снова закрыл глаза.

Илья просидел у бассейна до рассвета. Пение стихло около четырёх. Тот, наверху, так и не ушёл.

Утром Илья поднялся к себе и записал в дневник:

«19.05. 05:00. Третья ночь у бассейна. Он — у двери 227. Кивнул. Я — тоже. Не знаю, что это значит для него. Для меня — что он позволяет мне сидеть здесь. Пока».

* * *

Вера узнала его имя на четвёртый день.

Она пришла к Илье под вечер, когда он сидел на скамейке у западной стены — под аркой ниши, на изогнутом песочном диване, рядом с холодной каменной чашей, — и Ая была у неё на руках. Ая молчала. Она всё время молчала с пятнадцатого. Не бегала, не смеялась, не перебирала Сонины волосы. Только сидела у Веры на коленях или на руках и смотрела на север.

Вера села рядом.

— Пап, — сказала она. — Его зовут Лиэн.

Илья повернулся к ней.

— Кого?

— Того, кто сидит у двери. Двести двадцать седьмая. — Вера помолчала. — Ну, не совсем Лиэн. У них нет таких звуков, как у нас. Это как... как если бы ветер прошёл через траву, а потом капнуло в воду. Но ближе всего — Лиэн. Я так его зову в голове.

— Откуда ты знаешь?

Вера пожала плечами. Тем же жестом, что и всегда, когда он задавал этот вопрос.

— Ая сказала. Ну, не сказала. Я тебе сто раз объясняла, пап. Я знаю — и всё. — Она помолчала. — Он — отец той девочки. Новорождённой. Ей сейчас полтора месяца. Её зовут... — Вера закрыла глаза. — Я не могу. Это слишком тихо. Как будто кто-то дышит на стекло.

Илья молчал.

— У него там был брат, — сказала Вера тихо. — На Новой Земле. Не родной. У них не бывает родных и неродных, я тебе говорила. Но — близкий. Как брат. Они вместе росли. В одном доме. А потом его брат ушёл туда — на север. Давно. Чтобы смотреть на звезду. Там, на севере, — в том доме, — была башня. Самая старая. Самая важная. Оттуда смотрели на неё дольше всех. — Вера открыла глаза. — Пап. Там был тот, кто смотрел. Тот, кто вёл журнал. Последний. Тот, кто подвёл черту.

Илья не двигался.

Пластина на его столе. Орион. Кружок на плече. Одна горизонтальная черта.

«Как будто кто-то, кто вёл журнал наблюдений много лет, подвёл итог».

— Он был там? — спросил Илья. Голос был чужим. — Пятнадцатого?

Вера кивнула.

Ая у неё на руках вдруг подняла голову. Посмотрела на Илью. Тёмными, круглыми, совсем детскими глазами. Илья видел её — почти ясно. Маленькое личико. Тёмные волосы. Светлое платье.

Она смотрела на него долго. Без страха. Без упрёка. Просто — смотрела.

Потом снова уткнулась Вере в плечо.

* * *

На пятый день, двадцатого мая, вечерняя тишина вернулась.

Илья увидел это с галереи. В девять, после заката, тени во дворе — впервые за пять дней — медленно, одна за другой, сели. На траву. На ступени. На край полного бассейна. На изогнутые диваны в нишах. Сели и замолчали.

И в каменных чашах в нишах — в первый раз за всё время, что Илья жил в этом доме, — загорелся огонь.

Сам. Без спичек. Без растопки. Просто — на дне каждой чаши, в двенадцати нишах вокруг двора, вдруг появилось пламя. Невысокое, ровное, янтарное. Без дыма. Без треска. Оно горело тихо, как свеча в безветренной комнате, и отражалось в воде бассейна двенадцатью золотыми точками.

Люди во дворе ахнули. Кто-то вскочил. Кто-то перекрестился. Борис Ефимович подошёл к ближней чаше, протянул руку — осторожно, как к живому, — и замер.

— Тёплый, — сказал он. — Обычный. Как от костра.

Илья спустился. Сел на изогнутый диван в нише у западной стены. Рядом с чашей. Огонь горел в полуметре от его руки. Тёплый. Живой. Янтарный.

Во сне — в ночь на десятое апреля, в первую ночь после хлеба, — он видел эти чаши горящими. Видел воду в желобах. Видел зелень в кадках.

Вода пришла пятнадцатого. Огонь — сегодня.

Он посмотрел на кадки между нишами. Тёмная земля. Пустая.

Пока.

— Они зажгли его для тех, — сказал рядом голос.

Илья обернулся. Горелов. Он сидел на соседнем диване, укрытый пледом, — маленький, сутулый, седой, — и смотрел в огонь. Илья не заметил, как он пришёл.

— Для кого?

— Для тех, кто был в трёх домах. — Горелов не отрывал взгляда от пламени. — Так делают люди везде, Ланской. Во всех культурах. Свеча за упокой. Вечный огонь. Костёр на тризне. Огонь — это то, что остаётся, когда человека уже нет. — Он помолчал. — Видимо, и у них тоже.

Он закашлялся. Долго, тяжело, прижимая ко рту платок. Илья видел, как трясутся его плечи под пледом.

— Арсений Викторович, вам надо к врачу.

— Мне семьдесят девять лет, Ланской, — сказал Горелов, отдышавшись. — Мне надо к врачу последние двадцать. — Он убрал платок. — Ольга Андреевна меня смотрела. Говорит — лёгкие. Говорит — в больницу. А я говорю — нет. Я двадцать лет ждал этого. Я не буду смотреть на это из больничного окна.

Они сидели молча. Огонь горел.

* * *

Тимур позвонил двадцать первого. Поздно вечером.

— Ланской, — сказал он без предисловий. — Лю Вэй. Он прислал данные.

— Какие?

— Альтиметрия. За неделю. Каждый час. С трёх спутников. — Тимур помолчал. — Я тебе на почту скинул. Посмотри. Только сядь сначала.

Илья открыл ноутбук. Скачал файл.

Карта. Южная часть Тихого океана. Синяя — вода. А посередине, вокруг точки Немо, — пятно. Неправильное, вытянутое с севера на юг, похожее очертаниями — Илья не сразу понял, на что, — на гигантский лист. На лист гинкго. Веерообразный. С изрезанными краями. Тысячи километров в поперечнике.

Пятно было раскрашено. От тёмно-синего по краям — к голубому, к зелёному, к жёлтому в центре.

Высота дна. Вернее — то, что спутники считали дном. Шестнадцатого мая — минус три тысячи восемьсот метров. Ровно, как везде на абиссальной равнине. Семнадцатого — минус три тысячи семьсот. Восемнадцатого — минус три тысячи четыреста. Деятнадцатого — минус две тысячи девятьсот.

Двадцатого — минус тысяча девятьсот.

Двадцать первого, сегодня, в центре пятна, в жёлтом, — минус шестьсот.

Илья смотрел на цифры. Считал в уме.

Не сантиметры в час. Уже нет. Дно поднималось всё быстрее. Каждый день — больше, чем в предыдущий. Как поднималась плотность домов в феврале: сорок процентов, сорок шесть, пятьдесят два. Как поднималась яркость звезды перед вспышкой.

Экспонента.

Если так пойдёт дальше — завтра, послезавтра — над водой поднимутся первые вершины. Через неделю...

Он не досчитал. Остановился. Потому что в голове само собой, против воли, начало считать другое.

Площадь пятна — примерно как Австралия. Семь с половиной миллионов квадратных километров. Глубина — четыре километра. Если всё это поднимется со дна и выйдет на поверхность — оно вытеснит воду. Тридцать миллионов кубических километров воды. Куда-то.

А площадь всего Мирового океана — триста шестьдесят миллионов квадратных километров.

Тридцать миллионов кубических километров, размазанные по тремстам шестидесяти миллионам квадратных...

Восемьдесят метров.

Уровень Мирового океана поднимется на восемьдесят метров.

Илья сидел перед ноутбуком и чувствовал, как холодеют руки.

Восемьдесят метров — это не наводнение. Это конец побережий. Нью-Йорк, Шанхай, Лондон, Токио, Петербург, Бомбей, Амстердам, Венеция, Майами, Сингапур — всё под водой. Половина Голландии — нет, вся Голландия. Бангладеш. Дельта Нила. Миллиард человек, живущих меньше чем в восьмидесяти метрах над морем.

Миллиард.

Он позвонил Тимуру обратно.

— Тимур. Ты посчитал?

— Посчитал, — сказал Тимур глухо. — Восемьдесят. Плюс-минус. Если вся эта штука выйдет наверх.

— А уровень? Сейчас? Что показывают альтиметры по всему океану?

Тимур помолчал.

— Вот это самое странное, Ланской, — сказал он наконец. — Ничего не показывают. Уровень стоит. Как стоял. Два миллиметра вверх за неделю — это в пределах приливов и ветров. Ничего. Дно в точке Немо поднялось на три километра, а вода — не поднялась. — Он помолчал. — Куда она девается, Ланской? Куда девается вода?

* * *

Ответ пришёл от Горелова.

Илья нашёл его утром у бассейна. Старик сидел на краю, свесив ноги, и смотрел в воду. Плед — на плечах. Рядом — чашка чая, остывшая.

Илья показал ему карту. Цифры. Расчёт.

Горелов смотрел долго. Потом вернул телефон.

— Вы забыли одну вещь, Ланской, — сказал он.

— Какую?

— Земля растёт.

Илья открыл рот — и закрыл.

— Тимур вам сам говорил, — сказал Горелов. — Радиус растёт. С февраля — по миллиметрам. После Невады — по сантиметру в неделю. А пятнадцатого? Вы спрашивали его, что было пятнадцатого?

— Скачок гравитации. Три десятитысячных.

— Гравитации. А радиуса?

Илья молчал.

— Спросите, — сказал Горелов. — Я думаю, он скажет вам — тоже скачок. И скачок продолжается. — Он посмотрел на воду. — Подумайте. Земля растёт — значит, растёт площадь её поверхности. Значит, растут и океанские впадины. Растёт объём чаши, в которой лежит океан. Если чаша растёт быстрее, чем в неё сыплется новая суша, — вода не поднимется. Она опустится. Если медленнее — поднимется. А если ровно так же...

— То останется на месте, — сказал Илья медленно.

— То останется на месте. — Горелов кивнул. — Геометрия, Ланской. Я вам говорил. Она не бывает такой аккуратной случайно. Восемь миллиардов уснули — и ни один не погиб. Дома появились — и ни один не встал на чужое место. Недостройки стали домами — и ни один бездомный не пострадал. А теперь материк поднимается со дна — и вода не выходит из берегов. Ни на сантиметр. — Он помолчал. — Кто-то очень заботится о том, чтобы никто не утонул.

— Кто?

Горелов долго смотрел в воду.

— Не «кто», — сказал он. — Я физик, Ланской. Я не верю в «кто». Я верю в законы сохранения. — Он помолчал. — Но я начинаю думать, что у той стороны есть закон сохранения, которого у нас нет. Закон сохранения жизни. Что сама их физика устроена так, что слияние не может убить. Не может — как вода не может течь в гору.

Он закашлялся. Долго. Илья ждал.

— А мы, — сказал Горелов, отдышавшись, — мы принесли в это слияние свою физику. В которой энергия взрыва остаётся там, где взорвалось. В которой бомба убивает. — Он посмотрел на Илью. — Их физика никого не убила за четыре месяца. Наша — за один день — три города.

* * *

Тимур перезвонил вечером. Илья спросил его про радиус.

Тимур долго молчал в трубке.

— Скачок, — сказал он наконец. — Пятнадцатого. Плюс четыре километра. Сразу.

— Километра?

— Километра, Ланской. Радиуса. Шесть тысяч триста семьдесят один — и четыре сверху. Навигационные станции по всему миру разъехались друг от друга, как изюм в тесте. — Тимур помолчал. — И дальше — растёт. Не по сантиметрам. По сотням метров в день. Сейчас — плюс девять километров. И масса растёт быстрее, иначе сила тяжести упала бы, а она — растёт. Ланской, как ты узнал?

— Не я, — сказал Илья. — Горелов.

— Твой старик — колдун, — сказал Тимур.

— Нет. Физик.

Илья положил трубку. Посчитал. Радиус — плюс девять километров. Площадь поверхности Земли растёт пропорционально квадрату радиуса. Объём океанских впадин — примерно пропорционально... Он считал долго, на бумаге, как в студенчестве, — и в конце концов получил число.

Чтобы вместить тридцать миллионов кубических километров суши без подъёма воды, океан должен растечься по поверхности, которая больше прежней на два процента. А для этого радиус Земли должен вырасти примерно на семьдесят километров. На один процент.

Один процент. Горелов говорил двенадцатого апреля, на третьем этаже бетонного каркаса: «Процентов на несколько. Это много, Ланской. Это другой климат. Другая сила тяжести. Другие сутки».

Он посмотрел на кривую Тимура. На экспоненту.

При таком темпе — через десять дней.

Ровно тогда, когда материк выйдет на поверхность целиком.

Он положил карандаш. Посидел. Потом засмеялся. Тихо, нервно, в пустой комнате. Не над расчётом. Над тем, что не мог перестать удивляться.

«Геометрия не бывает такой аккуратной».

Нет. Бывает. Если её кто-то... Если она сама...

Он не знал, как закончить фразу. Ни физикой, ни поэзией.

* * *

Двадцать седьмого мая Олег Николаевич позвонил в шесть утра.

— Илья Сергеевич. Вы видели?

— Что?

— Включите что угодно. Любой канал.

Илья включил телевизор в Сониной комнате. Вера и Соня ещё спали. Наталья Сергеевна — тоже. Он убавил звук до шёпота.

На экране был лес.

Высокий, тёмный, густой. Деревья с веерообразными листьями. Тёмные ярусные конусы хвойных. Белые цветы на толстых чешуйчатых стволах. Лес стоял в воде. Прямо в море. Волны шли сквозь стволы, как сквозь дым. Над лесом кружили серые птицы.

Внизу экрана — бегущая строка: «ЭКСКЛЮЗИВ. ПЕРВЫЕ КАДРЫ. НОВЫЙ МАТЕРИК В ТИХОМ ОКЕАНЕ».

Камера качалась — снимали с борта судна, с рук, на телефон. Потом картинка сменилась. Берег. Песок. Шлюпка, ткнувшаяся носом в берег. И на песке — старик. Коричневый от солнца, сухой, жилистый, с белыми волосами. На коленях. С ладонями на песке. С опущенной головой. Рядом — священник, подняв руку открытой ладонью вперёд.

А за ними, на холме, среди прозрачного леса, — белые стены. Арка. Пар над крышей.

И дальше — ещё. И ещё. В правильном, ровном, сотовом порядке.

И над всем этим, на самом высоком холме, — башня. Белая, круглая, с открытым куполом. В щели — длинное, белое, направленное в небо.

Илья смотрел на экран и не дышал.

— Это прислали с острова Питкэрн, — сказал в трубке Олег Николаевич. — Вчера вечером. Новозеландскому каналу. Сорок жителей. Потомки мятежников с «Баунти». Они дошли туда первыми. На грузовом судне. Без разрешения. Без оружия. Четыре человека — старик, священник, парень и пасечник. — Он помолчал. — Илья Сергеевич. Через три часа это будут показывать в каждом доме на Земле. Через шесть — в каждом генштабе. Американцы знали с двадцатого — у них свои спутники. Китайцы знали раньше, ваш Лю Вэй — это только то, что утекло. Мы — с двадцать второго. Все молчали. Каждый думал, что успеет первым.

Он помолчал снова.

— А первыми успели сорок человек с острова, которого двести лет не было на картах.

Илья смотрел на экран. На старика на коленях. На священника с поднятой ладонью. На башню.

— Что теперь будет? — спросил он.

Олег Николаевич долго молчал.

— Сегодня в десять — Совет безопасности, — сказал он наконец. — Вас там ждут. Вы, Горелов, если он может ходить, Ветрова, Остроумова. Машина будет в девять. — Пауза. — Илья Сергеевич. Американский авианосец вышел из Сан-Диего вчера. Китайская эскадра — из Сямэня, позавчера. Наш отряд — из Владивостока, сегодня ночью. Это пока не объявлено. Но я думаю, вы должны знать.

Илья молчал.

— До точки Немо от Владивостока — двенадцать тысяч километров, — сказал Олег Николаевич. — Две недели хода. От Сан-Диего — восемь. От Сямэня — десять. — Он помолчал. — Через две недели вокруг этого леса будут стоять три флота, Илья Сергеевич. Три флота, у каждого из которых — ядерное оружие. И каждый будет считать, что материк — его.

Он отключился.

Илья стоял посреди Сониной комнаты с телефоном в руке. На экране, беззвучно, старик с Питкэрна стоял на коленях на тёплом песке нового материка. Над ним кружили серые птицы.

Вера проснулась. Села на кровати. Посмотрела на экран.

Долго молчала.

Потом сказала — тихо, сонно, почти без выражения, — как говорят то, что знают давно: — Пап. Там тоже кто-то есть. В той арке. Он на них смотрит.

Илья пригляделся.

В арке белого дома на холме, за спиной священника, за спиной старика на коленях, — в глубине, в тени, — стояла тень. Высокая. Светлая. Неясная, как отражение в воде.

Она стояла неподвижно.

И смотрела на людей, которые пришли без оружия.

Глава 3. Ничья земля

Горелов поехал.

Ольга была против. Она стояла в арке Лосиног острова, в белом халате поверх свитера, — так она теперь ходила по дому каждое утро, обходя своих «пациентов», как она их называла, хотя никто из них не был болен, — и говорила ровным врачебным голосом, тем самым, которым двадцать пять лет говорила о самом страшном:

— Арсений Викторович, у вас в лёгких хрипы с обеих сторон. Температура тридцать семь и восемь. Сатурация девяносто один. Вам нужен рентген, анализы, антибиотики и постельный режим. А не Кремль.

— Ольга Андреевна, — сказал Горелов. Он стоял у машины — чёрной, большой, с водителем в штатском, присланной Олегом Николаевичем, — в мятом пиджаке, который Андрей одолжил ему для свадьбы и который был ему велик на два размера. — Двадцать лет назад меня выгнали из науки за статью, в которой я предсказал то, что сейчас происходит. Меня называли шарлатаном. Меня называли сумасшедшим. Мне не дали ни одного гранта, ни одной лаборатории, ни одной аудитории. Я двадцать лет жил на пенсию учителя физики в деревне под Калугой и считал на бумаге то, что мне не давали считать на компьютерах. — Он помолчал. Закашлялся. Отдышался. — А сегодня меня зовут туда. Сами. Чтобы спросить, что я думаю. — Он посмотрел на Ольгу. — Я поеду. А потом — хоть рентген, хоть антибиотики, хоть больница. Обещаю.

Ольга смотрела на него долго. Потом сняла с шеи свой фонендоскоп, сунула его в карман халата и полезла в машину.

— Тогда я с вами, — сказала она. — Как врач.

* * *

Зал был тот же, в котором Илья уже бывал, — длинный стол, двадцать кресел, портрет на стене, тяжёлые шторы. Только на этот раз людей было больше. Илья насчитал тридцать два. Генералы — пятеро, в форме, с одинаковыми тяжёлыми лицами. Адмирал — один, сухой, седой, с жёсткими глазами. Люди из министерств — иностранных дел, природных ресурсов, финансов. Двое молодых в хороших костюмах, с планшетами, — те самые, что были на комиссии двенадцатого. Академик Звягинцев в толстых очках. Ещё несколько учёных, которых Илья не знал.

Во главе стола — человек, которого Илья видел только по телевизору. Немолодой, грузный, с неподвижным лицом и внимательными, очень спокойными глазами. Секретарь. Он поздоровался со всеми коротко, кивком. С Гореловым — тоже кивком. Но чуть дольше.

— Начнём, — сказал он. — Времени мало. Геологи, прошу.

* * *

Геологов было двое. Пожилая женщина из Института геологии рудных месторождений — крепкая, коротко стриженная, в очках на цепочке — и молодой парень из какой-то космической компании, который отвечал за снимки.

— Мы получили изображения материка со спутников, — начала женщина. Голос у неё был прокуренный, низкий. — Не только наших. Европейских. Японских. Частично — американских, через третьи руки. Не спрашивайте как. — Она кивнула парню. — Покажи.

На большом экране появилась картинка. Тот же лес, что вчера показывали по телевизору, — только сверху. Тёмно-зелёный ковёр. Реки, выющиеся между холмами. Белые точки городов — правильные, сотовые. И горы. На юге материка, у его широкого края, — горный хребет. Серый, острый, с белыми вершинами.

— Это — обычная фотография, — сказала женщина. — А теперь — то, что нас интересует.

Картинка сменилась. Тот же материк — но раскрашенный в невозможные цвета. Фиолетовый, оранжевый, ядовито-зелёный, малиновый. Пятнами. Полосами. Узорами.

— Гиперспектральная съёмка, — объяснила женщина. — Обычный фотоаппарат видит три цвета — красный, зелёный, синий. А гиперспектральная камера видит двести. Каждый камень, каждый минерал отражает свет по-своему. У каждого — свой спектр. Как отпечаток пальца. Как у звёзд, Илья Сергеевич, — она кивнула Ланскому, — только для камней. Мы этим пользуемся лет двадцать, чтобы искать месторождения. Летит спутник, снимает землю в двухстах цветах — и мы видим, где на поверхность выходит медь, где железо, где золото.

Она показала на экран лазерной указкой.

— Вот здесь — горы на юге. Вот этот фиолетовый — это ультраосновные породы. Дуниты, перидотиты. Вот этот оранжевый внутри — хромиты. А вокруг них — вот эта малиновая кайма... — Она помолчала. — Коллеги, это металлы платиновой группы. Платина. Палладий. Родий. Иридий. Осмий. На поверхности. Видные из космоса.

Кто-то из министерских присвистнул.

— Дальше, — сказала женщина. — Вот здесь, в центре материка, — кольцевые структуры. Видите? Как мишени. Это — карбонатиты. Древние вулканы особого типа. Именно в них сидят редкие земли. Неодим, диспрозий, тербий, европий. Всё, из чего делают магниты для двигателей, для ветряков, для ракет, для телефонов. Девяносто процентов мировой добычи сейчас — в Китае. — Она перевела указку. — А вот здесь, на востоке, — плоские белые пятна. Солончаки. Высохшие озёра. Литий. Вот здесь, на склонах, — красная полоса. Латериты. Никель и кобальт.

Она опустила указку.

— Я сорок лет ищу руду, — сказала она. — Я была в Норильске, на Кольском, в Якутии, в Африке, в Чили. Я никогда не видела ничего подобного. Понимаете, на Земле все месторождения, которые выходят на поверхность, давно найдены и выкопаны. Люди копают уже десять тысяч лет. Мы нашли всё, что лежало сверху. Сейчас мы копаем на глубине в километр, в два, в три — потому что сверху ничего не осталось. — Она посмотрела на экран. — А здесь — никто не копал. Никогда. Шестьдесят шесть миллионов лет. Всё лежит сверху. Как в первый день творения.

Тишина.

— Оценка, — сказал секретарь.

Женщина помолчала.

— Очень грубая. По тому, что видно с орбиты. — Она назвала число.

Илья не запомнил его. Он не был экономистом. Он запомнил только, что число было больше, чем годовая экономика всей планеты. И что, когда она его назвала, один из генералов медленно снял очки.

* * *

Потом говорил адмирал.

Сухо. Коротко. По карте. Американская авианосная группа — вышла из Сан-Диего двадцать пятого. Авианосец, два крейсера, четыре эсминца, подводная лодка. Ход — восемнадцать узлов. К материку — через десять дней. Китайская эскадра — вышла из Сямэня двадцать четвёртого. Десантный корабль-док, три эсминца, два фрегата, транспорт снабжения. К материку — через двенадцать дней. Британцы — фрегат с Фолклендов. Уже в пути. Ближе всех. Через шесть дней.

— Британцы? — переспросил кто-то.

— Питкэрн, — сказал человек из МИДа. Худой, в очках, с тонким нервным лицом. — Остров Питкэрн — британская заморская территория. Первыми на материк высадились подданные британской короны. Лондон уже заявил, что «рассматривает вопрос о правах, вытекающих из факта первого обнаружения».

— Островитяне не поднимали флага, — сказал Илья.
Все посмотрели на него.

— Я видел запись, — сказал он. — Там нет флага. Там старик на коленях и священник с поднятой рукой. Они ничего не заявляли. Они сказали: «Мы пришли с миром».

— Это неважно, — сказал человек из МИДа мягко, как говорят с ребёнком. — Для Лондона — неважно.

Он открыл папку.

— Позвольте я объясню правовую ситуацию, — сказал он. — Она, мягко говоря, беспрецедентная. По Конвенции ООН по морскому праву у каждого государства есть исключительная экономическая зона — двести морских миль от побережья. Материк лежит далеко за пределами любой такой зоны. Ближайшая — та же Питкэрн, и то её зона кончается в тысяче километров от северного берега материка. Значит, материк возник в открытом море. А открытое море не принадлежит никому.

Он перевернул страницу.

— А суша, которая не принадлежит никому, в международном праве называется «ничьей землёй». Это старая доктрина. Ей пятьсот лет. Ничья земля может быть присвоена государством — но не просто так. Не флагом. Не фактом открытия. Есть знаменитое решение — арбитраж по острову Пальмас, тысяча девятьсот двадцать восьмой год, спор между Голландией и США. Арбитр — швейцарский юрист Макс Хубер — тогда сформулировал: суверенитет над ничьей землёй возникает не из открытия, а из «эффективного и непрерывного осуществления государственной власти». Кто реально контролирует территорию — тот и хозяин.

Он закрыл папку.

— То есть, — сказал он, — материк достанется тому, кто первым поставит на нём людей. И удержит их там.

— Флоты, — сказал секретарь.

— Флоты, — согласился человек из МИДа. — Это гонка. Мы проигрываем её на четыре дня американцам и на два дня китайцам. Британцы — вне конкуренции, у них один фрегат, они не удержат. Но заявят.

— А Договор об Антарктике? — сказала Ветрова.

Человек из МИДа посмотрел на неё.

— Наталья Андреевна, — сказал он. — Договор об Антарктике подписали в пятьдесят девятом году. Двенадцать стран, включая нас и американцев. В разгар холодной войны. Антарктиду объявили зоной науки и мира. Никаких военных баз. Никаких ядерных испытаний. Все территориальные претензии — заморожены. Шестьдесят девять лет работает. Это — лучший договор, который люди когда-либо подписывали.

— Тогда почему...

— Потому что в Антарктиде, — сказал человек из МИДа тихо, — под двумя километрами льда, не видно платины из космоса.

* * *

Потом говорил Илья.

Секретарь кивнул ему — и он встал. Он не готовился. Он не знал, что скажет. Он просто встал, посмотрел на тридцать два лица вокруг длинного стола — тяжёлых, усталых, внимательных, равнодушных, — и начал говорить. Тихо. Сухо. Как на учёном совете.

Про то, что материк не поднимается со дна. Что он проступает — так же, как проступали дома в феврале. Сорок процентов. Пятьдесят. Шестьдесят. Каждый день — плотнее. Что лес на снимках — не мёртвые деревья на поднятом дне, а живой лес. Их лес. Что реки — их реки. Что белые точки — их города. Что в каждом городе — двадцать, тридцать домов. По тысяче комнат в каждом.

Про то, что Земля растёт. Что радиус — плюс двенадцать километров за одиннадцать дней. Что уровень моря не поднимается, потому что океан растекается по выросшей планете. Что сутки удлиняются — уже почти на шесть минут. Что это не катастрофа. Что это — геометрия. Что слияние, по всем данным, которые у них есть, устроено так, чтобы никто не погиб.

Он перевёл дыхание.

— И последнее, — сказал он. — Новая Земля. Невада. Лобнор.

В зале стало тихо.

— До пятнадцатого мая энергия наших ударов по домам уходила туда, — сказал Илья. — На ту сторону. Через прокол. Мы этого не видели. Мы думали — уходит в пустоту. Пятнадцатого прокол закрылся. Листы легли друг на друга. С этого момента всё, что мы бросаем в их дома, остаётся здесь. Вся энергия. — Он помолчал. — Три дома на трёх полигонах стали песком. Вместе со всеми, кто в них был.

— У вас есть данные, что там кто-то был? — спросил один из молодых с планшетом. Вежливо. Как двенадцатого.

Илья повернулся к нему.

— Да, — сказал он. — Есть.

Молодой поднял брови.

— Двадцать четыре наблюдателя в Лосином острове, — сказал Илья. — Пятнадцатого мая, в пятнадцать сорок одну, — момент взрывов. Все двадцать четыре — независимо, в разных комнатах — зарегистрировали одно и то же событие. Генератор случайных чисел в бассейне — отклонение. Энцефалограммы у тех, на ком были шапочки, — синхронный всплеск. А потом — пять дней — все, кто живёт в этом доме с той стороны, стояли лицом на север и не ели. И пели. По ночам. Похоронную песню. — Он помолчал. — Это не сон. Это данные. Протокол — у Ветровой. Анализ — у Остроумовой. Хотите — пришлю.

Молодой ничего не ответил. Что-то записал в планшет.

— Илья Сергеевич, — сказал секретарь. Спокойно. — Что вы предлагаете?

Илья помолчал.

— Не стрелять, — сказал он. — Ни при каких обстоятельствах. Ни по их городам. Ни по чужим кораблям. Пойти туда — первыми или последними, неважно, — но без оружия. С учёными. С врачами. С переводчиками, если найдутся. И предложить американцам, китайцам, британцам — всем — то, что предложила Наталья Андреевна. Договор. Как об Антарктике. Мир. Наука. Никаких претензий.

— А если они откажутся?

— Тогда мы будем единственными, кто предложил, — сказал Илья. — И когда всё это кончится — если кончится, — это будет записано.

Генерал-полковник — тот самый, тяжёлый, с пальцами, постукивающими по столу, — усмехнулся. Негромко.

— Это красиво, Илья Сергеевич, — сказал он. — Правда. Но вы понимаете, что если мы придём туда без оружия, а американцы — с оружием, то американцы будут там хозяевами. А мы — их гостями. Или их пленными.

* * *

И тогда заговорил Горелов.

Он не вставал. Не мог. Он сидел в кресле в конце стола — маленький, седой, в чужом пиджаке, с платком в руке, — и говорил тихо, хрипло, так, что все невольно наклонились вперёд, чтобы услышать.

— Молодой человек из МИДа очень хорошо объяснил про ничью землю, — сказал он. — Спасибо. Пятьсот лет доктрины. Я хочу добавить к ней одну историю. Можно?

Секретарь кивнул.

— Тысяча семьсот семидесятый год, — сказал Горелов. — Капитан Кук подходит к восточному берегу большого южного материка. Высаживается. Видит людей — тёмных, голых, с копьями. Они кричат на него с берега. Он стреляет поверх голов. Они уходят. Он поднимает флаг и объявляет всю эту землю владением британской короны. Потому что, по доктрине, это — ничья земля. Люди на берегу — не в счёт. У них нет государства. Нет флага. Нет «эффективного осуществления государственной власти». Нет даже, как тогда считалось, понятия собственности.

Он закашлялся. Долго. Ольга, сидевшая за его спиной у стены, сделала движение — он отмахнулся.

— Этим людям, — продолжал он, отдышавшись, — было пятьдесят тысяч лет на этой земле. Пятьдесят тысяч. Их песни описывали каждый холм, каждый ручей, каждую звезду. Через сто лет после Кука от них осталась малая часть. Остальных убили болезни, голод и пули. А доктрина ничьей земли продержалась в австралийском праве двести двадцать два года. До тысяча девятьсот девяносто второго. Пока Высокий суд Австралии — по иску одного упрямого островитянина, Эдди Мабо, — не признал наконец, что земля, на которой живут люди, не может быть ничьей. Что это была ложь. С самого начала.

Он помолчал.

— Мабо не дожил до решения. Умер за пять месяцев. — Горелов поднял глаза — светлые, быстрые, насмешливые даже сейчас — и обвёл ими стол. — Я тоже, наверное, не доживу. Поэтому скажу сейчас. Коллеги, там — люди. Я не знаю, какие. Я никогда их не видел. Но Ланской их видел. Его дочь их видела. Сорок человек с Питкэрна их видели. Там города. Там башни, в которых они смотрели на ту же звезду, на которую смотрели мы. Там дети. — Он помолчал. — Если вы назовёте эту землю ничьей — вы повторите самую старую, самую подлую ложь в истории нашего вида. Ту, с которой начинается каждое истребление. «Там никого нет». «Там никто не живёт». «Они не в счёт».

Он положил платок на стол. На белом платке было красное пятно.

— Я двадцать лет считал, как сблизятся два мира, — сказал он тихо. — Я думал, что самое трудное — это физика. Я ошибался. Физика — оказалась самым простым. Самое трудное — это мы.

* * *

Тишина в зале стояла долго.

Потом секретарь — неподвижное лицо, спокойные глаза — сказал:

— Спасибо, Арсений Викторович.

И повернулся к адмиралу.

— Отряд продолжает движение. Задача — прибыть к материку в кратчайший срок. Огня не открывать. Ни при каких обстоятельствах — без прямого приказа отсюда. Ни по объектам, ни по кораблям других государств. — Он помолчал. — В составе отряда — научная группа. Руководитель — Ланской. Задача — изучение, контакт, документирование. МИДу — подготовить проект договора по образцу антарктического. Предложить всем. Публично. Сегодня.

Адмирал кивнул. Генерал-полковник — не кивнул. Но и не возразил.

— Илья Сергеевич, — сказал секретарь. — Вы полетите во Владивосток завтра. Там вас ждёт научное судно. Оно догонит отряд. — Он помолчал. — Вы ведь этого хотели? Быть там, когда начнётся. Чтобы рядом с адмиралом был кто-то, кто может сказать «не стреляйте» — и знает почему.

Илья смотрел на него.

— Да, — сказал он.

— Хорошо. — Секретарь поднялся. Совещание кончилось. Все встали. — И ещё одно, Илья Сергеевич. Я не знаю, что будет там. Никто не знает. Американцы — не дураки. Китайцы — тоже. Мы предложим договор — и, может быть, они его подпишут. А может быть — нет.

— Он посмотрел на Илью. Спокойно, внимательно. — Я обещаю вам одно: мы не выстрелим первыми. Больше я обещать не могу.

Он вышел. За ним — генералы, адмирал, люди с планшетами.

Илья остался стоять у стола. Рядом — Ветрова, Остроумова. Ольга — у кресла Горелова. Горелов сидел, закрыв глаза. Лицо — серое. Губы — синеватые. Дышал часто, мелко.

— Всё, — сказала Ольга. Не Горелову — Илье. — Скорую. Сейчас.

* * *

Его увезли в Боткинскую в два часа дня. Двусторонняя пневмония. Сатурация — восемьдесят шесть. Кислород. Капельницы. Палата на седьмом этаже, окно во двор.

Илья пришёл к нему вечером, накануне вылета. Горелов лежал под кислородной маской, бледный, маленький, с капельницей в руке. Увидев Илью, сдвинул маску на подбородок.

— Не надо, — сказал Илья. — Арсений Викторович, наденьте.

— Пять минут, — сказал Горелов. — Пять минут я проживу и без неё. Ланской, у меня для вас кое-что есть. — Он показал глазами на тумбочку. — Там. В пакете.

Илья открыл пакет. Внутри была тетрадь. Общая, толстая, в клеённой обложке, испанная с первой до последней страницы. Крупный, угловатый, наклонный почерк. Формулы. Графики. Карты, нарисованные от руки, — мир, с континентами, с океанами, с какими-то пятнами и стрелками.

— Это я считал в марте и апреле, — сказал Горелов. — В Коммунарке. На третьем этаже. При свечке. — Он помолчал, отдышался. — Где ещё. Где следующие. Если их Земля — как наша, только с другой историей, — то по геологии... по тому, где у нас тонкая кора, где у нас старые затонувшие плато... Ланской, вы помните Лемурию?

Илья помнил. Девятнадцатый век. Английский зоолог Склейтер ломал голову: почему лемуры живут на Мадагаскаре и в Индии, но их нет ни в Африке, ни на Ближнем Востоке? И предположил: когда-то между Мадагаскаром и Индией был материк. Затонувший. Он назвал его Лемурией. Потом пришла тектоника плит, и Лемурию списали в мифы: Индия просто отъехала от Мадагаскара, и не нужен никакой затонувший материк.

— Списали, — сказал Горелов. — У нас. А у них? — Он ткнул пальцем в тетрадь. — Там. Страница сорок. Индийский океан. Кергеленское плато, Маскаренский хребет. У нас — подводные. У них — может быть, нет. — Он закашлялся. — И страница пятьдесят два. Арктика. Хребет Ломоносова. Хребет Менделеева. Тоже — подводные. Тоже — затонувшая суша, которую кто-то когда-то называл Арктидой. Гиперборей. Сказки. — Он помолчал. — Ланской, если я прав — через месяц, через два — будет не один материк. Будут три. Четыре. И каждый — с платиной.

Илья держал тетрадь в руках. Тяжёлую. Тёплую.

— И каждый — с городами, — сказал он.

— И каждый — с городами, — согласился Горелов. Глаза у него были закрыты. — Возьмите. Вам там понадобится. Чтобы вы знали, куда смотреть.

Илья не двигался.

— Арсений Викторович. Я вернусь. Вы — дождитесь.

Горелов открыл глаза. Посмотрел на него. С той самой усмешкой — быстрой, насмешливой, молодой, — которую Илья помнил по четвергам, по маленькой аудитории на четвёртом этаже.

— Ланской, — сказал он. — Мне семьдесят девять лет. У меня двусторонняя пневмония. И я только что сказал Совету безопасности, что они — подлые лжецы. — Он помолчал. — Я постараюсь. Но обещать не буду. Я никогда не обещаю того, чего не могу посчитать.

Он надвинул маску обратно на лицо.

И закрыл глаза.

* * *

Вечером Илья сидел у бассейна в Лосином острове. В последний раз — перед долгим отъездом.

Вера сидела рядом. С Аей на коленях. Ая не спала. Смотрела на огонь в ближней нише.

— Ты надолго? — спросила Вера.

— Не знаю, Верунь. Месяц. Может быть, два.

— Там будет война?

Илья помолчал.

— Я еду туда, чтобы её не было.

Вера кивнула. Посмотрела на воду.

— Пап, — сказала она. — Лиэн спрашивал.

Илья повернулся к ней.

— Что?

— Ну, не спрашивал. — Вера пожала плечами. — Я не знаю, как это... Он сегодня утром стоял у бассейна, когда ты уезжал на машине. Смотрел тебе вслед. А потом посмотрел на меня. И я поняла — он хотел знать, куда ты едешь. — Она помолчала. — Я ему сказала. Ну, подумала. Что ты едешь туда, где новая земля. Где их города. Что ты едешь, чтобы там не стреляли.

— И что он?

Вера долго молчала.

— Он ушёл в двести двадцать седьмую, — сказала она. — А потом вернулся. И положил вот это. На край бассейна. Где ты всегда сидишь.

Она разжала ладонь.

На ладони лежала пластина. Маленькая, белая, тонкая, как стекло. С рисунком.

Илья взял её. Поднёс к огню.

Рисунок был простым. Круг — Земля. На нём — пятна. Знакомые очертания: Евразия, Африка, Америки, Австралия. И — новые. Одно — в Тихом океане, похожее на лист гинкго. Второе — в Индийском, длинное, между Африкой и Индией. Третье — на самом верху, в Арктике, круглое, как шапка.

И ещё два. Поменьше. В Атлантике. И у Антарктиды.

Пять.

Под кругом — маленький рисунок. Схематичный, как у детей. Человечек. Палочки, кружок-голова. С поднятой открытой ладонью.

И рядом — второй человечек. Тоже с поднятой ладонью. Навстречу.

Илья смотрел на пластину долго. Потом достал из сумки тетрадь Горелова. Открыл на странице сорок. Потом — на пятьдесят два.

Лемурия. Арктида.

Совпадало.

Он поднял голову. Посмотрел на галерею второго этажа. На дверь двести двадцать седьмой.

Лиэн стоял там. У перил. Смотрел вниз. На него.

Илья поднял руку. Открытой ладонью вперёд.

Лиэн долго не двигался.

Потом — медленно, неуверенно, впервые — поднял свою.

Глава 4. Длинные сутки

Самолёт до Владивостока летел девять часов. Илья не спал ни минуты.

Он сидел у окна, с тетрадю Горелова на коленях, и читал. Страницу за страницей. Формулы. Графики. Карты, нарисованные от руки, — мир, с континентами, океанами, со стрелками и пятнами. Пометки на полях — крупным, угловатым, наклонным почерком, чем дальше, тем неровнее: «Проверить!», «Не сходится — почему?», «Ланской бы сказал — подгонка», «Нина, ты бы смеялась».

Нина. Жена Горелова. Умерла в две тысячи девятом. Илья не знал о ней ничего, кроме того, что Горелов сказал на свадьбе. «Она всегда говорила, что я умею говорить только про то, чего никто не видел».

На странице шестьдесят три, внизу, под длинным расчётом, который обрывался на полуслове, было написано — совсем мелко, совсем неровно, как пишут при свечке, когда устали глаза:

«Если я прав — это будет самое красивое, что случалось с человечеством. Если мы не испортим. Мы испортим. Но вдруг — нет».

Илья долго смотрел на эту строчку. Потом закрыл тетрадь и стал смотреть в окно.

Под крылом плыла Сибирь. Тайга, тайга, тайга — тёмно-зелёная, бесконечная, с серебряными нитями рек. И в тайге — Илья видел это даже с одиннадцати километров — светлые точки. Белые. Правильные. По одной — посреди каждой огромной ячейки, которую никто не видел, но все уже знали. Дома. Там, где на сотни километров вокруг не было ни деревни, ни дороги.

Кто в них живёт? Кто их видит? Охотники? Оленеводы? Медведи?

Он не знал. Никто не знал. Сибирь была слишком большой.

* * *

Владивосток встретил его туманом.

Майский, морской, тёплый, густой — такой, что с трапа самолёта не было видно здания аэропорта. Илья знал, что здесь так бывает: в конце весны с океана приходит туман и стоит неделями. Местные называют это «сезоном морока».

Его встречал молодой офицер. Высокий, худой, в чёрной флотской форме, с погонами капитана второго ранга. Лет тридцать пять. Лицо — серьёзное, сухое, с резкими скулами. Глаза — светлые, внимательные.

— Капитан второго ранга Сазонов, — представился он. — Артём Олегович. Я — представитель командования в научной группе. — Он помолчал. — Связной, если проще. Между вами и адмиралом.

— Ланской.

— Я знаю. — Сазонов кивнул на машину. — Нам надо торопиться, Илья Сергеевич. Судно уходит в шесть.

* * *

Они ехали через город. Туман не рассеивался. Сквозь него проступали очертания — сопки, уходящие вниз к бухте, мосты, многоэтажки на склонах, портовые краны. И — над бухтой Золотой Рог, на склоне одной из сопки, там, где Илья помнил по старым поездкам пустырь с бурьяном и ржавыми гаражами, — белые стены. Мягкий свет сквозь туман. Пар над крышей.

— У нас таких четыре, — сказал Сазонов, проследив его взгляд. — В городе. И на Русском острове — посёлок. Тридцать домов. Встал в марте. — Он помолчал. — А пятнадцатого — ещё семь. На недостроях. Знаете, сколько у нас было недостроев? Полгорода. Город строили-строили, да не достроили.

Илья ничего не ответил. Он смотрел на белые стены, проплывающие в тумане.

— Илья Сергеевич, — сказал Сазонов, глядя на дорогу. — Можно вопрос?

— Конечно.

— Вы там были? Внутри?

— Жил.

Сазонов помолчал.

— Мой брат тоже, — сказал он наконец. — В том, на Русском. С апреля. Бросил работу — он был программистом, хорошим, в банке. Взял жену, двоих детей и ушёл туда. Говорит — никогда так хорошо не жил. Говорит — видит их. — Он перевёл дыхание. — Я ему не верю. Я думаю — это та штука в хлебе. Как наркотик. Мне так объясняли.

— Кто объяснял?

— Командование. — Сазонов покосился на него. — Вы со мной не согласны.

— Нет, — сказал Илья.

— Почему?

Илья помолчал.

— Потому что я тоже видел их, — сказал он. — И до того, как съел хлеб. Не так ясно. Но видел. И потому что двадцать четыре человека, которые не знали друг друга и не разговаривали, видели одно и то же в одну и ту же минуту. И потому что генератор случайных чисел, который ничего не ест, видел то же самое.

Сазонов долго молчал. Машина спускалась к порту.

— Я читал ваш препринт, — сказал он наконец. — Брат прислал. — Он помолчал. — Я ничего не понял в статистике. Но я понял, что вы очень старались не обмануть себя. — Он посмотрел на Илью. — Это я уважаю.

* * *

Судно называлось «Заря».

Научно-исследовательское, Тихоокеанского океанологического института. Сто три метра в длину. Белый корпус, синяя полоса по борту, высокая надстройка, утыканная антеннами, лебёдки на корме, лаборатории на нижних палубах. Построено в восемьдесят девятом году. Пережило девяностые, когда стояло у причала без топлива и без зарплаты. Пережило двухтысячные, когда его чуть не продали на металлолом. Ходило в Антарктиду, на Курилы, в Южно-Китайское море, на Гавайи.

Теперь оно шло к точке Немо.

Капитан — Глеб Савельевич Рыбаков, шестьдесят два года, грузный, седой, с обветренным лицом цвета кирпича и с голосом, который, казалось, был создан, чтобы перекрикивать шторм. Он пожал Илье руку на трапе — коротко, как тисками, — и сказал:

— Ланской. Астроном. Знаю, слышал. — Он помолчал. — У меня на борту сорок два человека экипажа, двенадцать учёных и один военный. Теперь — тринадцать учёных. Вы — главный над учёными. Я — главный над всеми. Военный — главный над тем, куда мы не пойдём. Понятно?

— Понятно.

— Хорошо. — Рыбаков отступил в сторону. — Добро пожаловать на «Зарю». Отходим через сорок минут.

* * *

Учёных Илья увидел в кают-компании, вечером, когда «Заря» уже вышла из Золотого Рога и шла по Японскому морю на юг, в тумане, с включённым ревуном.

Двенадцать человек. Океанологи — трое, из того же института, — молодые, загорелые, в одинаковых флисовых куртках. Биолог — пожилой, бородатый, в очках с толстыми стёклами, с сачком, прислонённым к стене. Геохимик. Сейсмолог. Двое метеорологов. Врач — молодая

женщина, сосредоточенная, с короткой стрижкой. Переводчик — с английского, китайского и японского; седой, сухой, бывший дипломат.

И — к удивлению Ильи — та самая женщина-геолог с Совета безопасности. Крепкая, коротко стриженная, в очках на цепочке, с прокуренным голосом.

— Брагина, — сказала она, протягивая руку. — Тамара Ильинична. Вы удивлены?

— Немного.

— Я тоже. — Брагина усмехнулась. — Меня позвали в последний момент. Сказали — надо, чтобы на борту был кто-то, кто сможет на месте сказать, сколько там платины. — Она закурила — прямо в кают-компании, никто ей не возразил. — Я сказала — хорошо. Но с одним условием. Если там правда люди — я ничего считать не буду.

— Почему?

Брагина посмотрела на него поверх очков.

— Потому что я сорок лет ищу руду, Илья Сергеевич. И я видела, что бывает с людьми, которые живут на руде. В Африке. В Чили. В Якутии. На Кольском. — Она затянулась. — Руда — это проклятие. Для тех, кто на ней живёт. Всегда. Без исключений. — Она стряхнула пепел в блюдце. — Я не хочу быть той, кто первым скажет — «там сорок триллионов». Пусть скажет кто-нибудь другой.

И ещё одна — океанолог, старшая из трёх. Ксения Павловна Ли. Тридцать восемь лет, корейка из Находки, в четвёртом поколении, — невысокая, тонкая, быстрая, с внимательными тёмными глазами и с привычкой рисовать на любой бумаге, которая попадалась под руку. Схемы течений. Профили дна. Изолинии температуры.

— Вы — Ланской, — сказала она. — Который про рост Земли.

— Не я. Горелов.

— Неважно. — Ксения Павловна положила перед ним лист. На нём — карта Тихого океана, нарисованная от руки, — точно, быстро, с изобатами. — Посмотрите. Это — течения. Обычные. Как они были до пятнадцатого мая. Антарктическое циркумполярное — вот здесь, вокруг Антарктиды, самое мощное течение на Земле, в сто раз больше всех рек мира вместе взятых. Перуанское — вот здесь, вдоль Южной Америки, холодное. Южно-тихоокеанское — вот. — Она перевернула лист. На обратной стороне — другая карта. Та же. Но посередине — пятно. Лист гинкго. — А это — как они будут, когда материк выйдет весь. Я считала три ночи.

Илья смотрел.

Стрелки огибали материк. Расщеплялись. Сходились. Циркумполярное течение — гигантская река, опоясывающая Антарктиду, — упиралось в южный край нового материка и... раздваивалось. Часть шла дальше на восток. Часть — поворачивала на север, вдоль западного берега.

— Перестройка, — сказала Ксения Павловна. — Всей циркуляции Южного полушария. Это — тепло. Это — климат. Это — дожди в Австралии и засухи в Чили. Это — всё. — Она помолчала. — Илья Сергеевич, по всем моделям это должно было быть катастрофой. Изменение океанских течений такого масштаба — это ледниковый период. Или наоборот.

— Должно было, — повторил Илья.

— Должно было. — Ксения Павловна перевернула лист снова. Внизу, мелко, — третья карта. — А получается вот что. Я не понимаю почему. Новое течение вдоль западного берега материка — оно тёплое. Не холодное — тёплое. Оно несёт тропическую воду на юг. Оно смягчает. Выравнивает. Как будто... — Она запнулась.

— Как будто кто-то выравнивал кривую, — сказал Илья.

Ксения Павловна посмотрела на него.

— Да, — сказала она. — Именно так. Откуда вы знаете?

* * *

Ночью Илья стоял на верхней палубе.

Туман остался позади, у берегов Японии. Небо очистилось. Звёзды — яркие, крупные, морские, такие, каких не бывает над городом. Юг — тёмный. Где-то там, через двенадцать тысяч километров, — лес, стоящий в воде.

Рядом встал Сазонов. В бушлате, с термосом.

— Не спится? — спросил он.

— Нет.

Сазонов налил чай в крышку термоса. Протянул.

— Илья Сергеевич. Можно ещё вопрос?

— Конечно.

— Что вы будете делать, если они начнут стрелять? Американцы. Китайцы. Если начнут бить по тем городам на берегу. Как на Новой Земле.

Илья долго молчал. Держал горячую крышку в ладонях.

— Не знаю, — сказал он честно. — А вы?

Сазонов посмотрел на море.

— У меня приказ, — сказал он. — Огня не открывать. Без прямого приказа из Москвы — ни при каких обстоятельствах. Ни по ним. Ни по их городам. — Он помолчал. — Я должен следить, чтобы вы не полезли туда, куда не надо. И чтобы никто из наших не полез. — Он отпил чай. — А если американцы начнут — у меня приказа нет. Никакого. Ни стрелять, ни не стрелять. Просто — смотреть.

— И что вы будете делать?

Сазонов долго молчал.

— Мой брат, — сказал он наконец. — Тот, что на Русском. У него младшей дочке четыре года. Она мне по видео показывала свою подружку. Там, в доме. Говорит — «дядя Тёма, вот она, смотри, её зовут Ии». А я смотрю — и там пусто. Кресло пустое. — Он помолчал. — А она с этим пустым креслом разговаривает. Смеётся. Делит с ним яблоко. Половину кладёт на кресло. А через час яблоко... — Он запнулся. — Брат говорит — съедено. Я не верю. Я думаю — он сам съел, чтобы ребёнок не расстраивался.

Он поставил крышку термоса на леер.

— Я не знаю, что я буду делать, Илья Сергеевич, — сказал он. — Если они начнут бить по тем городам. Я не знаю. Я офицер. Я давал присягу. Но если там — такая же Ии. Которая делит яблоко с моей племянницей...

Он не договорил.

Они стояли рядом и смотрели на юг.

* * *

На третий день пути, тридцать первого мая, в полдень, штурман «Зари» — молодой, лопоухий, рыжий, по фамилии Кононов — поднялся на мостик с секстаном в руках и с лицом человека, который увидел привидение.

Илья был на мостике — он проводил там почти всё время, смотрел на карты, на экраны, на море. Рыбаков сидел в капитанском кресле с кружкой чая.

— Глеб Савельевич, — сказал штурман. — Полдень.

— Ну?

— Не тот.

Рыбаков медленно повернулся к нему.

— Кононов, ты пил?

— Нет. — Штурман положил секстан на стол. — Я с курсантских лет ловлю полдень. Каждый день. Для тренировки. Солнце в зените — замер высоты — широта. Это проще всего на свете. — Он помолчал. — Глеб Савельевич, сегодня Солнце пришло в верхнюю точку на пятьдесят две минуты позже, чем должно было по хронометру. Вчера — на сорок пять. Позавчера — на тридцать восемь. Я думал — ошибка. Я три раза пересчитал. Это не ошибка.

Рыбаков молчал.

— Сутки удлиняются, — сказал Илья.

Оба повернулись к нему.

— Земля растёт, — сказал Илья. — Растёт её радиус, растёт масса. Растёт момент инерции. Вращение замедляется. Как у фигуристки, которая разводит руки. — Он помолчал. — До пятнадцатого мая — на доли миллисекунды. После — быстрее. Сейчас сутки длиннее примерно на семь минут, чем в январе, — и с каждым днём ещё длиннее. А дни складываются. Полдень приходит всё позже и позже. Через месяц он будет приходить на несколько часов позже, чем показывают часы.

Кононов смотрел на него, открыв рот.

— А спутники? — спросил Рыбаков. — Спутниковая навигация?

— Тоже, — сказал Илья. — Спутники летают вокруг Земли, а Земля стала тяжелее. Их орбиты чуть-чуть меняются. Чуть-чуть — но для навигации это много. Наземные станции пересчитывают их каждый день, но не успевают. Ошибка растёт.

Рыбаков посмотрел на экран навигатора. На точку, показывавшую положение «Зари». Потом — на штурмана.

— Кононов. Какая ошибка у нашего спутникового?

Кононов сглотнул.

— По секстану — четыре мили. К западу.

— Четыре мили, — повторил Рыбаков. — За три дня. — Он поставил кружку. — Значит, так. С сегодняшнего дня — двойная навигация. Спутник — и секстан. Каждый полдень. Каждую звёздную ночь. Как в старые времена. Кононов, ты у нас главный по звёздам.

— Есть.

— А часы? — Рыбаков посмотрел на Илью. — Что делать с часами, астроном? Если полдень уезжает — как жить по часам?

Илья подумал.

— Никак, — сказал он. — Через месяц — через два — часы и Солнце разойдутся. Утро будет наступать в полдень по часам. Вечер — в полночь. Людям придётся выбирать: либо жить по часам, либо по Солнцу. — Он помолчал. — Либо — переделать часы. Сделать сутки длиннее. Двадцать четыре часа и тридцать минут. Или двадцать пять часов. Как на Марсе.

— На Марсе? — переспросил Кононов.

— Марсианские сутки — двадцать четыре часа тридцать девять минут, — сказал Илья. — Те, кто управлял марсоходами на Земле, жили по марсианскому времени. Месяцами. Каждый день — на сорок минут позже. Говорят, это было очень тяжело. Через несколько недель у всех путались мысли.

Рыбаков долго молчал. Потом засмеялся. Тяжело, хрипло, в голос.

— Двадцать пять часов, — сказал он. — Господи. Я сорок лет мечтал, чтобы в сутках было на час больше. — Он покачал головой. — Вот и домечтался.

* * *

Вечером первого июня по радио пришла новость.

Илья узнал её от Сазонова. Тот спустился в лабораторию, где Илья сидел над тетрадью Горелова, и положил перед ним распечатку. Лицо у него было странным.

— Британцы, — сказал он. — Дошли. Сегодня утром по местному.

Илья взял распечатку. Сводка, сухая, военная, с британского новостного канала, переведённая на русский кем-то из связистов.

«Фрегат Королевского военно-морского флота сегодня подошёл к северному побережью нового материка. С борта высажена группа морской пехоты численностью двадцать человек. Группа высадилась на берег в месте первой высадки жителей острова Питкэрн. Командир группы провёл церемонию поднятия флага».

Ниже — от руки, почерком связиста:

«По неофициальным данным (британские соцсети, утечка от моряков фрегата): флагшток вошёл в землю, флаг был поднят, сделаны фотографии. Через сорок минут флагшток начал медленно погружаться в грунт. К вечеру над поверхностью оставалось полметра. Флаг лежал на земле. Морпехи вытащили флагшток — он был тёплым и покрыт слоем белого песка. Повторная попытка — то же самое. Командир группы доложил: „Грунт не держит“. Фотографий второй попытки в официальных источниках нет».

Илья читал. Перечитал.

Грунт не держит.

Шестьдесят процентов. Может быть, шестьдесят пять. Материк ещё не совсем здесь. Он принимает шлюпки, позволяет стоять на себе, позволяет идти по песку, — но не принимает флагштоки. Не держит то, что в него втыкают.

Он вспомнил стальную коронку бура, стёртую в стене дома. Таран на Капустином Яре. Отвал бульдозера, покрытый инеем.

Не принимает того, что вонзает силой.

— Знаете, что смешно? — сказал Сазонов. Он сидел напротив, на лабораторном табурете, и смотрел в стол. — Американцы будут через четыре дня. Китайцы — через шесть. Мы — через двенадцать. Все спешат воткнуть флаг. — Он помолчал. — А земля их не держит.

Илья посмотрел на него.

Сазонов поднял глаза. И впервые за пять дней — Илья видел это — в его сухом, серьёзном, резком лице что-то дрогнуло. Что-то похожее на улыбку. Кривую, горькую, неуверенную.

— Как будто она знает, — сказал он. — Земля. Как будто она знает, зачем мы идём.

* * *

Ночью «Заря» пересекла тропик Рака. Илья стоял на палубе и смотрел, как поднимается над горизонтом созвездие Скорпиона — красный Антарес, изогнутый хвост. Он впервые за много лет смотрел на звёзды не через прибор.

Через несколько дней он увидит Южный Крест. А через две с половиной недели — лес, стоящий в воде.

И три флота вокруг него.

Он посмотрел на часы. Полночь. По часам.

Но Солнце — он знал — село сегодня почти на час позже, чем должно было по часам. И взойдёт завтра — ещё позже.

Сутки становились длиннее.

Мир — больше.

А люди — оставались такими же.

Глава 5. Земля, которая не держит

Ребекку Холт вызвали из отстранения так же внезапно, как туда отправили.

Это было в марте. Её отстранили за то, что она слишком много говорила. В интервью, в соцсетях, на конференции по видеосвязи — о шестиугольных ячейках на поверхности Бетельгейзе, которые она с коллегами снимала пять лет на интерферометре в горах над Пасаденой. О том, что эти ячейки совпадают по размеру с картой, которую составила какая-то русская женщина-метролог по расхождению атомных часов. О том, что звезда и Земля, кажется, связаны одной геометрией. Начальство сказало — «нарушение протокола коммуникации в условиях национального кризиса». Ребекка сказала — «это наука, а не секретные данные». Ей дали оплачиваемый отпуск «на неопределённый срок» и вежливо попросили не появляться в институте.

Она просидела дома два месяца. Варила суп. Смотрела новости. Тайком, без разрешения, через знакомых в Стэнфорде, участвовала в повторении опыта русских — двадцать наблюдателей в белом доме на краю кампуса, конверты, генератор случайных чисел. Результаты выложила анонимно. Написала одну строчку Ланскому: «Я знала. Спасибо». И больше ничего не писала, потому что ей позвонили и очень вежливо объяснили, что не надо.

А двадцать седьмого мая ей позвонили снова. Другие люди. Ещё вежливее.

— Доктор Холт, — сказал мужской голос, спокойный, с южным акцентом. — Нам нужен специалист, который понимает в геометрии этих... явлений. Который видел шестиугольники раньше всех. Вы — лучшая. Вы полетите?

— Куда?

Пауза.

— Туда, где они появились, — сказал голос. — Все.

* * *

Её посадили на военный самолёт в Сан-Диего, потом — на вертолёт, потом — на палубу океанографического судна флота, которое шло в составе авианосной группы, чуть позади, как ребёнок за взрослыми. Судно было серым, угловатым, утыканным антеннами и лебёдками. Экипаж — гражданские моряки и десяток военных океанографов. Ей дали каюту на двоих — вторая койка была пустой — и пропуск на мостик.

Авианосец Ребекка видела каждый день. Он шёл в двух милях впереди — огромный, серый, плоский, как кусок суши, вырезанный из континента и пущенный в море. Над ним с утра до вечера взлетали и садились самолёты. Вокруг — крейсера, эсминцы, серые и острые, как ножи. Где-то под водой, невидимая, шла подводная лодка.

Четыре тысячи человек на одном авианосце. Шесть тысяч — во всей группе. Девяносто самолётов. Сотни ракет.

Ребекка смотрела на эту стальную армаду и думала о том, что всё это идёт к лесу. К лесу, который стоит в воде и сквозь который проходят волны.

* * *

Пятого июня, в шесть утра по местному времени, она увидела берег.

Вернее, сначала — облака. Гряды облаков над южным горизонтом, белую сверху, зеленоватую снизу. Ровную, неподвижную, от края до края. Потом — птиц. Серых, длиннохвостых, тысячами — они поднимались над горизонтом, кружили, опускались. Потом — линию. Тёмную. Во весь горизонт.

Капитан судна — пожилой, тихий, из гражданских, по фамилии Мерфи — стоял рядом с ней на мостике и смотрел в бинокль. Долго. Потом протянул бинокль ей.

— Доктор Холт, — сказал он. — Посмотрите. Я не могу объяснить, что я вижу.

Ребекка подняла бинокль.

Лес.

Высокий, густой, тёмный. Деревья — она не знала их названий, но видела фотографии с Питкэрна, видела снимки из белых дворов в Москве и в Мадриде, — гинкго, огромные, с веерами листьев. Тёмные ярусные хвойные. Белые цветы на толстых чешуйчатых стволах. Лес стоял над водой — и волны шли сквозь стволы.

Но не так, как на питкэрнских кадрах десятидневной давности.

Тогда волны проходили насквозь, как сквозь дым. Сейчас — Ребекка видела это, — они проходили, но не целиком. У каждого ствола вода чуть вскипала, чуть задерживалась, чуть закручивалась. Как вокруг сваи. Как вокруг чего-то, что уже почти здесь.

— Восемьдесят процентов, — сказала Ребекка. — Может быть, восемьдесят пять. Ещё неделя — и он будет здесь целиком.

Мерфи посмотрел на неё.

— Откуда вы знаете?

— Я пять лет смотрела на поверхность звезды, капитан, — сказала Ребекка. — Я научилась видеть, насколько что-то здесь.

Она опустила бинокль. И увидела — левее, на холмах за лесом, — белое.

Город.

* * *

Морская пехота высадилась в девять.

Ребекка смотрела с палубы. Вертолёты — шесть, тяжёлые, двухвинтовые, — поднялись с авианосца, прошли над лесом и сели на широкой песчаной полосе у берега. Там, где десять дней назад стояли на коленях старик с Питкэрна и священник. Там, где неделю назад британцы поднимали флаг, который уходил в землю.

Британский фрегат стоял тут же, в миле от берега. Маленький, серый, одинокий рядом с американской армадой. Его командир вышел на связь в восемь утра и очень вежливо, с безупречным оксфордским акцентом, сообщил, что территория «находится под рассмотрением правительства Её — простите, Его — Величества». Командир американской группы, контр-адмирал Хейл, так же вежливо ответил, что принял к сведению.

Морпехи развернулись цепью. Сто двадцать человек. Каски. Бронежилеты. Винтовки. Они шли по песку медленно, осторожно, оглядываясь по сторонам, как идут по минному полю.

А потом — Ребекка видела в бинокль — один из них остановился. Посмотрел себе под ноги. Наклонился.

Песок был тёплым. Она знала это — из питкэрнских записей. Тёплым, мягким, принимающим ногу по щиколотку — и останавливающим.

Морпех выпрямился. Посмотрел на лес. На белые стены на холме.

И опустил винтовку.

Не бросил. Не положил на землю. Просто — опустил ствол. Вниз. Как опускают, когда понимают, что целиться не в кого.

Через минуту командир группы — Ребекка видела, как он машет рукой, — заставил его поднять её снова.

* * *

К полудню она сошла на берег сама.

Её привезли на катере — вместе с океанографами, с ящиками приборов, с двумя морпехами охраны. Катер ткнулся носом в песок. Ребекка прыгнула.

Песок принял её ногу. Мягко. По щиколотку. И остановил.

Тёплый.

Она стояла на берегу нового материка и не могла двинуться. Вокруг — лес. Вблизи он был не прозрачным — почти. Стволы — твёрдыми на вид, покрытыми корой, с каплями смолы. Только если долго смотреть в одну точку, боковым зрением замечаешь — дрожание. Как над асфальтом в жару. Как будто лес ещё чуть-чуть колеблется между «здесь» и «там».

Пахло мёдом. Смолой. Мокрой корой. Цветущей липой — только тonyше.
Над головой пели серые птицы.

— Доктор Холт, — сказал рядом голос.

Она обернулась. Контр-адмирал Хейл. Он сошёл на берег вместе с ней — высокий, сухой, с короткими седыми волосами и с лицом человека, который спит по четыре часа в сутки. Пятьдесят восемь лет. Тридцать пять лет во флоте. Ирак, Афганистан, Красное море.

— Адмирал.

— Мне нужен ваш совет, — сказал он. — Мне приказано установить на этой территории «эффективное присутствие». Базу. Постоянную. С флагом. С людьми. С инфраструктурой. Чтобы ни у кого в мире не было сомнений, кто здесь хозяин. — Он помолчал. — Британцы пытались поставить флаг. Флагшток ушёл в землю. Мои инженеры говорят — грунт слабый, нужно бить сваи, на десять, на двадцать метров. Я хочу знать — сваи тоже уйдут?

Ребекка смотрела на него.

— Адмирал, — сказала она медленно. — Вы читали про бур на Капустинном Яре? Русские пытались пробурить стену дома. Алмазная коронка стёрлась за минуту. Про таран? Стальной таран — ни царапины. Про бульдозер? Отвал покрылся инеем. Про бомбы в Неваде — до пятнадцатого мая?

— Читал.

— Тогда вы знаете, — сказала Ребекка. — Всё, что вонзают в их вещи силой, — не входит. Или уходит. Флаг британцев воткнули. Он ушёл. — Она помолчала. — А мои ноги — стоят. Ваши — стоят. Шлюпка, вытасенная на берег, — стоит. То, что лежит, — держится. То, что вбивают, — тонет.

Хейл молчал.

— Это не грунт слабый, адмирал, — сказала Ребекка. — Это... — Она запнулась. Она была астрофизиком. Она не знала, как сказать это научно. — Это как вода. В воду можно войти. Можно поплыть. Можно положить на неё доску — и доска поплывёт. Но нельзя вбить в воду гвоздь.

— А когда он будет здесь весь? — спросил Хейл. — На сто процентов?

Ребекка помолчала.

— Не знаю, — сказала она честно. — Никто не знает. Может быть, тогда он станет как обычная земля. Как дома после пятнадцатого мая — их можно разрушить бомбой. — Она посмотрела на него. — А может быть — нет.

Хейл смотрел на лес. Долго.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Значит, без свай. Модули на опорах. Как в Антарктиде. Поставим — и посмотрим.

Он повернулся и пошёл к своим инженерам.

Ребекка смотрела ему вслед. И не знала, что она сейчас сделала. Помогла ему. Или помешала.

* * *

К вечеру на берегу стояли три белых модуля на широких металлических опорах. Жилой, штабной, медицинский. Генератор. Антенна. И флагшток — на отдельной платформе, на широком стальном основании, которое просто лежало на песке, а не было в него вбито.

Флаг подняли в семь вечера. Под гимн, который транслировали с авианосца через громкоговоритель. Морпехи стояли строем. Хейл — впереди, с рукой у козырька.

Ребекка стояла поодаль. Смотрела.

Флаг поднялся. Развернулся на ветру — тёплом, мягком, пахнущем мёдом.

Платформа под флагштоком стояла.

Пять минут. Десять. Двадцать.

Стояла.

По строю морпехов прошёл шорох — облегчения, торжества, усталости. Хейл опустил руку. Повернулся к своим офицерам. Сказал что-то — Ребекка не слышала что, — и они засмеялись.

А Ребекка смотрела не на флаг. На песок.

Вокруг стального основания платформы песок медленно, очень медленно — так, что заметить можно было, только если смотреть долго, — менялся. Белел. Светлел. Как будто под ним загорался мягкий свет. И от основания платформы, во все стороны, расходился тонкий, едва видимый узор. Линии. Пересекающиеся.

Шестиугольники.

Маленькие, с ладонь. Как соты.

Ребекка присела на корточки. Положила ладонь на песок рядом с платформой.

Тёплый. Теплее, чем раньше. И — она чувствовала это ладонью — чуть-чуть вибрирующий. Как кожа над бьющейся жилкой.

Она не знала, что это значит. Она пять лет смотрела на шестиугольники на поверхности звезды — и ни разу не знала, что они значат.

Она записала время. Сфотографировала. Отправила снимок в лабораторию на судне.

Подписала: «Он что-то делает со всем, что мы на него ставим. Не знаю что. Наблюдаю».

* * *

Китайцы пришли седьмого июня.

Ребекка услышала об этом за завтраком в кают-компании судна. Эскадра — десантный корабль-док, три эсминца, два фрегата, транспорт — подошла к западному берегу материка, в трёхстах километрах от американской базы. Высадила войска. Подняла флаг. На платформе. На широком стальном основании.

Они тоже знали про британский флагшток.

К полудню на связь вышел их командующий. Вежливо, по-английски, через переводчика, сообщил контр-адмиралу Хейлу, что Китайская Народная Республика «осуществляет научную деятельность на вновь образовавшейся территории в соответствии с нормами международного права» и «призывает все стороны к сдержанности». Хейл ответил, что Соединённые Штаты «осуществляют эффективное присутствие» и «также призывают к сдержанности».

Ребекка слушала эту переключку по громкой связи на мостике и думала, что это похоже на разговор двух людей, которые одновременно садятся на один стул и вежливо просят друг друга подвинуться.

А вечером, в половине одиннадцатого, когда она сидела в своей каюте над снимками шестиугольников на песке, в дверь постучали.

Радист. Молодой, взъерошенный, с распечаткой в руке.

— Доктор Холт? Вас вызывают. На научной частоте. С китайского судна. — Он помолчал. — Он говорит — вы его знаете.

* * *

Голос был слабым, с треском, с помехами. Но Ребекка узнала его сразу. По тому, как он делал паузы перед каждым словом. По тому, как старательно выговаривал «р».

— Ребекка. Это Лю Вэй.

Она сжала микрофон.

— Лю. Господи. Лю, ты где?

— На научном судне. В составе эскадры. Как ты. — Пауза. Треск. — Меня вернули на работу. Двадцать пятого мая. После того как я... — Он запнулся. — Не важно. Меня вернули, потому что я понимаю в геометрии. Как тебя.

— Я знаю.

— Ребекка, — сказал Лю Вэй. Голос был тихим, быстрым. — У меня немного времени. Этот разговор слушают. Твои. Мои. Все. Это не важно. Я хочу сказать одну вещь. Чтобы ты знала. И чтобы знали все, кто слушает.

— Говори.

— Мы поставили платформу с флагом, — сказал Лю Вэй. — Сегодня днём. На широком основании. Как вы.

— Я знаю.

— Песок вокруг неё стал белеть. Через двадцать минут. И пошёл узор. Шестиугольный. Ребекка замерла.

— У нас тоже, — сказала она.

— Я так и думал. — Пауза. Треск. — Ребекка. Я сделал замер. Магнитометром. Тепло-визором. Сейсмодатчиком. Ничего не видно. Кроме одного. Сейсмодатчик на песке, в метре от основания, ловит... — Он замолчал. — Ловит ритм. Слабый. Очень. Как пульс.

— Какой?

— Три. Четыре. Один.

Ребекка закрыла глаза.

Три. Четыре. Один. Пульс звезды. Тот, который записывали все — Ланской на Кавказе, Лю Вэй на своей горе, она сама над Пасаденой, — последние месяцы перед вспышкой. Тот, что русский старик в Сибири увидел на их пластине.

— Лю, — сказала она. — Что это значит?

— Не знаю, — сказал Лю Вэй. — Я думаю... — Пауза. Долгая. Треск. — Я думаю, Ребекка, что материк нас слышит. Что он чувствует, что мы на него поставили. И отвечает. Тем, что знает. Единственным языком, который у нас с ним общий.

Ребекка молчала.

— Я не знаю, как это проверить, — сказал Лю Вэй. — Мне не дадут проверить. Меня вернули, чтобы я считал, сколько там лития. Не чтобы я слушал пульс. — Он помолчал. — Но ты можешь. Тебе тоже не дадут. Но, может быть, ты сможешь лучше, чем я.

— Лю...

— И ещё одно. Ланской. Русский. Он идёт сюда. С их отрядом. На научном судне. Через неделю. — Пауза. — Скажи ему. Если сможешь. Про пульс. Он поймёт. Он всегда понимал раньше нас.

Треск. Шум. Голос пропал.

— Лю? Лю!

Тишина.

Радист рядом с ней снял наушники. Посмотрел на неё.

— Связь прервана, мэ. С их стороны.

Ребекка сидела у пульта, держа микрофон в руке. Долго.

Потом встала. Вышла на палубу.

* * *

Была ночь. Тёплая, звёздная, тихая. Южная.

Над головой — Южный Крест, высоко, ярко. Млечный Путь — через всё небо, густой, как молоко. Магеллановы Облака — два туманных пятна над горизонтом.

А на юге, над тёмной стеной леса, — свет.

Мягкий. Белый. Янтарный по краям. Он поднимался над холмами, где стоял город, — как свечение большого посёлка ночью, только без электричества, без фонарей, без реклам. Ровное, тёплое, живое.

Ребекка стояла у леера и смотрела на этот свет.

И вдруг поняла, что не одна.

Рядом стоял морпех. Молодой, лет двадцати двух, в форме, без каски, с винтовкой за спиной. Он сменился с вахты на берегу — его привезли на судно последним катером. Ребекка видела его днём. Это был тот самый. Который опустил винтовку, когда почувствовал тёплый песок.

— Мэм, — сказал он, не глядя на неё. — Можно спросить?

— Конечно.

— Вы учёный. — Он помолчал. — Скажите мне. Там кто-нибудь есть? В городе?

Ребекка смотрела на свет над холмами.

— Да, — сказала она. — Есть.

Морпех долго молчал.

— Я был сегодня у стены, — сказал он наконец. — Днём. Нас послали проверить периметр. Я подошёл к арке. Там внутри — двор. Сад. Деревья. Вода в бассейне — полная. Огонь в чашах — горит. — Он сглотнул. — И там сидела девочка. На краю бассейна. Маленькая. Лет шести. Я видел её. Почти ясно. Она болтала ногами в воде. А потом увидела меня. — Он замолчал.

— И?

— И испугалась, — сказал морпех. — Мэм, она так испугалась. Я в жизни не видел, чтобы ребёнок так пугался. Она вскочила и убежала. Внутрь. И я слышал, как кто-то там внутри — взрослый, женщина — что-то сказал ей. Быстро. Тихо. Как говорят «тише, тише, всё хорошо». — Он посмотрел на свою винтовку. — Она испугалась меня, мэм. Вот этого.

Ребекка не знала, что ответить.

— У меня дома сестра, — сказал морпех. — Ей шесть. В Огайо. Она тоже болтает ногами в бассейне у бабушки. — Он помолчал. — Я сюда шёл защищать её. От них. Нам так сказали. Что они — угроза. Что это вторжение. Что мы должны быть первыми, иначе первыми будут китайцы или русские, и тогда... — Он замолчал. — А там — девочка. Которая болтает ногами в воде. И которая боится меня.

Он долго стоял молча. Смотрел на свет над холмами.

— Мэм, — сказал он наконец. — Кто здесь чудовище?

Ребекка не ответила.

Она смотрела на юг. На тёплый свет над городом, в котором девочка болтала ногами в воде и боялась человека с винтовкой.

И думала о том, что на двух материках — нет, на двух берегах одного материка — сейчас стоят два флага. На двух платформах. И вокруг каждой — тёплый песок медленно белеет, складываясь в шестиугольники. И под каждой — едва слышно, так, что не ловит ни один прибор, кроме самого чуткого, — бьётся пульс.

Три. Четыре. Один.

Как будто материк спрашивает. Терпеливо. Снова и снова. На единственном языке, который у них общий.

«Кто вы? Зачем вы пришли?»

Глава 6. Сто процентов

«Заря» пересекла экватор восьмого июня, в четыре часа дня по корабельному времени. Которое уже давно не совпадало ни с московским, ни с солнечным, ни с каким другим.

По старой морской традиции это полагалось праздновать. Капитан Рыбаков, оказалось, относился к традициям серьёзно. В три часа на палубу вышел Нептун — боцман Филиппыч, огромный, пузатый, в бороде из распущенной пеньковой верёвки, в короне из консервной банки, с трезубцем из багра. С ним — свита: русалка (самый худой матрос, в парике из мочалки) и черти (двое мотористов, вымазанные машинным маслом). Нептун требовал, чтобы все, кто пересекает экватор впервые, предстали перед его судом.

Впервые пересекали шестеро. В том числе — Илья.

Его облили заборной водой из пожарного шланга. Заставили выпить «морской воды» — солёного чая с лимоном. Вручили диплом, напечатанный на принтере в штурманской: «Ланской Илья Сергеевич, астроном, принят в подданные Нептуна и получает морское имя — Звездочёт».

Он стоял на мокрой палубе, в мокрой рубашке, с дипломом в руке, и смеялся. Впервые — с пятнадцатого мая.

— Двести лет так делают, — сказал Рыбаков, подходя к нему. — Может, больше. Каждое судно. Каждый экватор. — Он посмотрел на море. На юг. — Знаете зачем?

— Зачем?

— Чтобы помнить, что море больше нас, — сказал Рыбаков. — Что мы — гости. Что тут — свой хозяин. И к нему надо приходиться с уважением, а не со штыком. — Он помолчал. — Жаль, на авианосцах этой традиции не придают значения.

* * *

Двенадцатого июня, в полдень по Гринвичу, материк стал целым.

Ребекка Холт увидела это первой. Она стояла на берегу, у американской базы, с секундомером, как стояла каждый день последнюю неделю, — и смотрела на волны у ближнего ствола гинкго. Каждое утро она записывала, как вода ведёт себя у дерева. Пятого июня — проходит насквозь, едва задерживаясь. Седьмого — задерживается, закручивается. Девятого — почти обтекает. Одиннадцатого — обтекает, с маленьким следом проникновения, как будто ствол ещё чуть-чуть пропускает воду внутрь.

Двенадцатого, в полдень, волна ударила в ствол и разбилась.

Брызгами. Пенной. Как о скалу.

Ребекка записала время. Двенадцать ноль-ноль ноль-три по Гринвичу. Потом подошла к дереву и положила на кору ладонь.

Кора была шершавой, тёплой от солнца, чуть липкой от смолы. Обычной. Совершенно обычной корой обычного дерева. Без дрожания. Без колебаний между «здесь» и «там».

Здесь.

Она подняла голову. Над ней шумела крона — огромная, в тридцать метров, с веерами листьев, сквозь которые пробивалось солнце. Серые птицы перелетали с ветки на ветку.

И Ребекка вдруг заплакала. Сама не зная почему. Стояла, прижав ладонь к коре дерева, которое ещё утром было наполовину призраком, и плакала, как не плакала со смерти матери.

* * *

Илья узнал об этом по радио. Ребекка вышла на связь с «Зарёй» в тот же вечер — по научной частоте, открыто, как Лю Вэй несколько дней назад. Голос был усталым, хриплым, но очень спокойным.

— Илья. Это Ребекка Холт.

Он не слышал её голоса пятнадцать лет. С той недели в Атакаме, когда они сидели под облаками и ждали, когда разойдутся.

— Ребекка.

— Он здесь, — сказала она. — Весь. Сто процентов. Сегодня в полдень по Гринвичу. — Пауза. — Илья, волна разбилась о дерево. Как о скалу.

— Я знаю. Ксения Ли — наш океанолог — увидела по альтиметрам. Дно перестало подниматься в двенадцать ноль-ноль. Сразу. Как отрезало.

— Да. — Ребекка помолчала. — И ещё. Я должна сказать тебе одну вещь. Меня просили. Лю Вэй.

Она рассказала. Про платформы с флагами. Про песок, который белеет вокруг них и складывается в шестиугольники. Про сейсмодатчик и пульс.

Три. Четыре. Один.

Илья слушал. Молча.

— Он сказал — ты поймёшь, — закончила Ребекка. — Сказал — ты всегда понимал раньше нас.

— Я не понимаю, — сказал Илья.

— Нет?

— Нет. — Он помолчал. — Но я знаю одного человека, который поймёт. Если доживёт.

* * *

Вечером, через спутниковый телефон, который Сазонов с неохотой дал ему на десять минут, он дозвонился до Веры.

Связь была плохой, с задержкой в полсекунды, с эхом. Вера говорила быстро — она знала, что время ограничено.

— Пап! Как ты? Ты где?

— На экваторе. Уже чуть южнее. Меня окрестили Звездочётом.

— Что?

— Потом расскажу. Верунь, как Горелов?

Пауза. Дольше, чем полсекунды.

— Лучше, — сказала Вера. — Мама говорит — лучше. Неделю назад было совсем плохо, его хотели перевести в реанимацию. А потом — лучше. Температура упала. Кислород сняли позавчера. Он сидит. Пишет. Мама говорит — он требует, чтобы ему приносили газеты и распечатки. Медсёстры его боятся. — Она помолчала. — Пап, мама говорит — это странно. Она говорит — в его возрасте, с его лёгкими, так быстро не выздоравливают. Она говорит... — Вера понизила голос. — Она говорит, что Лиэн приходил к нему.

Илья замер.

— Что?

— Ну, не Лиэн. Кто-то из них. Мама не знает кто. Она дежурила у него ночью, неделю назад, когда было совсем плохо. И видела — в палате кто-то был. У кровати. Высокий. В светлом. Стоял и держал руку над его грудью. Не касался — держал. Минут десять. А утром температура упала. — Вера помолчала. — Мама не верит. Говорит — антибиотики подействовали. Но она говорит — она видела. И Горелов говорит, что ему снился сад. С водой.

Илья держал трубку. Молчал.

Боткинская больница. Седьмой этаж. Окно во двор. А во дворе Боткинской — Илья вспомнил это вдруг, отчётливо, — во дворе Боткинской в феврале, на старом пустыре за моргом, встал белый дом. Он видел его в новостях.

— Верунь, — сказал он. — Передай Горелову. Скажи — на материке пульс. Под нашими флагами. Три, четыре, один. Скажи — я не понимаю, что это. Пусть он подумает.

— Передам.

— И ещё. — Он помолчал. — Скажи Лиэну спасибо.

Вера долго молчала. Полсекунды задержки — и ещё секунда тишины.
— Скажу, пап, — сказала она тихо.

* * *

«Заря» подошла к материку шестнадцатого июня, на рассвете.

Российский отряд — большой противолодочный корабль, эсминец и танкер — стоял здесь уже шесть дней. У юго-восточного побережья, напротив гор. Тех самых, о которых говорила Брагина на Совбезе. Серых, острых, со снежными вершинами. С малиновой каймой на гиперспектральных снимках.

Платина.

Илья стоял на мостике, рядом с Рыбаковым и Сазоновым, и смотрел на берег.

Горы поднимались прямо из моря. Крутые, скалистые, с ледниками в верхних долинах. Ниже — лес, тёмный, густой. Ещё ниже, у самой воды, — широкая бухта, полукругом. И в бухте — город.

Он был не таким, как те, что Илья видел на снимках. Не просто соты белых домов. Город спускался к воде уступами — террасами, лестницами, мостами, перекинутыми над ущельями. Белые стены, тёплые янтарные полосы света по кромкам — даже на рассвете, даже против встающего солнца. Башня на самом высоком уступе — белая, круглая, с открытым куполом. И у воды — причалы. Длинные, плавно изогнутые, как пальцы руки, опущенной в воду.

А у причалов — лодки.

Илья поднял бинокль.

Лодки были белыми. Узкими, длинными, с высоко поднятыми носами. С парусами — не треугольными, не прямоугольными, а... он не знал, как сказать. Как листья. Как огромные листья гинкго, веерообразные, с тонкими прожилками, натянутые на изогнутые мачты. Паруса были свёрнуты. Лодки стояли неподвижно. Десятки.

— Рыболовы, — сказал Рыбаков рядом. Тихо. — Это рыбацкий посёлок, Ланской. Портовый город. Смотрите — сети на причале. Сушатся.

Илья видел. Сети. Белые, тонкие, развешанные на шестах вдоль причалов. Как в любом рыбацком посёлке на Земле. В Нагаеве. В Находке. В Мурманске. В Норвегии. В Японии.

Рыболовы.

— Они ловят рыбу, — сказал Сазонов. Голос у него был странным. — Они... тоже ловят рыбу.

Никто ему не ответил.

* * *

Наш флаг уже стоял.

Илья увидел его в бинокль — на широкой стальной платформе, у самой кромки леса, в километре от города. Триколор. Рядом — два модуля, на опорах. Антенна. Несколько десятков человек в камуфляже.

И вокруг платформы — Илья увидел это не сразу — кольцо.

Зелёное. Широкое — метров двадцать в поперечнике. Ровное.

Он перевёл бинокль. Пригляделся.

Это были ростки. Маленькие, светло-зелёные, в ладонь высотой. Сотни. Они росли из белого песка — ровным кольцом вокруг стальной платформы с флагом, — тесно, рядами, как будто кто-то посадил их по линейке. Нет — по шестиугольникам. Каждый росток стоял в своей ячейке. В центре своего маленького сота.

Беннеттиты. Илья узнал их по листьям — перистым, жёстким, свёрнутым в улитку у молодых.

— Что это? — спросил Сазонов.

Илья опустил бинокль.

— Они сажают сад, — сказал он медленно. — Вокруг нашего флага.

— Кто — они?

— Не знаю, — сказал Илья. — Может быть, они. Может быть — сам материк. Может быть, это одно и то же.

Рыбаков долго молчал.

— У американцев — то же самое? — спросил он.

— Ребекка говорит — то же самое. — Илья помолчал. — И у китайцев. Лю Вэй говорит.

— Значит, — сказал Рыбаков, — они сажают сады вокруг всех трёх флагов. Американского, китайского, нашего. Одинаковые.

— Да.

Рыбаков засмеялся. Тихо, невесело.

— Мы им — флаги, — сказал он. — А они нам — сады.

* * *

Илья сошёл на берег в полдень. С Брагиной, с Ксенией Ли, с биологом, с врачом. И с Сазоновым — «потому что я за вас отвечаю». Их встретил командир десантной группы — майор морской пехоты, широкий, рыжий, весёлый, по фамилии Гришин.

— Ланской? — Гришин пожал ему руку. — Слышал, слышал. Тот самый. Который звезду. — Он кивнул на кольцо ростков вокруг флага. — Видали? Каждое утро — новые. Мы их не трогаем. Приказ. Да и... — он помялся, — да и жалко как-то. Растут же.

— Вы были в городе? — спросил Илья.

Гришин посерьёзней.

— Был. Один раз. В первый день. С разведкой. — Он помолчал. — Больше не хожу. И ребят не пускаю.

— Почему?

Гришин посмотрел в сторону города. На белые террасы, спускающиеся к бухте.

— Потому что мы вошли, — сказал он. — С оружием. Как положено. Двадцать человек, цепью. А там — люди. Ну, не люди. Не знаю, кто. Тени. Мы их видели — кто-то лучше, кто-то хуже. И они от нас... — Он запнулся. — Они от нас прятались, Ланской. Матери хватали детей и убегали в дома. Старики вставали и уходили. Мы шли по улице — а перед нами всё пустело. Как перед... — Он не договорил. — Я двадцать лет служу. Я был в Сирии. Я видел, как от нас прячутся. Но там было понятно — мы солдаты, они боятся солдат. А здесь... — Он помолчал. — Здесь от нас прятались так, как прячутся от чего-то, чего никогда не видели. От чего-то, что страшнее солдат.

Он посмотрел на Илью.

— Как от чудовищ, — сказал он тихо. — Вот так от нас прятались.

* * *

В город Илья пошёл без оружия.

Сазонов хотел с ним — с пистолетом. Илья сказал — нет. Сазонов сказал — приказ. Илья сказал — тогда я не пойду, а вы доложите в Москву, что научная группа отказалась от работы из-за вашего пистолета. Сазонов долго смотрел на него. Потом отстегнул кобуру и отдал её Гришину.

Пошли вчетвером. Илья, Сазонов, Ксения Ли и Брагина. Брагина шла первой — она сказала, что сорок лет ходила по чужим землям и знает, как надо входить в чужую деревню. «Медленно. С пустыми руками. Глядя под ноги, а не по сторонам. И не улыбаться, — сказала она. — Улыбка у разных народов значит разное. А опущенные глаза — почти везде одно».

Они шли по тропе от берега. Потом — по белой дорожке, мягкой, чуть пружинящей под ногами. Через лес. Мимо огромных гинкго, мимо рощ беннеттитов. Пахло мёдом и смолой.

Потом лес кончился. И начался город.

Белые стены. Террасы. Лестницы, плавно изгибающиеся вверх и вниз, без единого угла. Арки с резными сводами, светящимися по кромке тёплым янтарём. Сады во дворах — Илья

видел их сквозь арки, — с полными бассейнами, с горящими в нишах чашами. Мосты над ущельями, по которым бежали ручьи. Ни одной машины. Ни одного провода. Ни одной вывески.

И — никого.

Улицы были пусты. Дворы — пусты. Мосты — пусты.

Илья остановился посреди широкой террасы, над бухтой, и огляделся.

Он не ел их хлеба с пятнадцатого мая. Месяц. Он видел их сейчас хуже, чем в Лосином острове. Но всё равно — видел.

Они были здесь.

В арках — силуэты. В окнах — силуэты. На галереях, за резными перилами, — силуэты. Сотни. Неподвижные. Прижавшиеся к стенам. Смотрящие.

На них.

Илья почувствовал это всем телом — как чувствовал в Лосином острове двадцать первого марта. Не страх. Хуже. Ожидание. Такое, с каким ждут, когда пройдёт гроза. Когда уйдёт зверь, забредший в деревню. Когда можно будет выйти.

— Они здесь, — сказала Ксения Ли шёпотом. Она стояла рядом, бледная. — Я их... я их чувствую. Я не ела хлеба. Никогда. Но я их чувствую.

— Все чувствуют, — сказал Илья. — С шестого февраля. Мы все — приёмники.

Брагина стояла впереди, опустив глаза, как и обещала. Сазонов — чуть позади, с пустыми руками, напряжённый, как струна.

Илья медленно опустился на колени. На белые плиты террасы. Тёплые.

Он не знал, зачем это делает. Просто — сделал. Как сделал старик с Питкэрна на песке три недели назад. Сел на пятки, положил ладони на колени. Опустил голову.

Рядом, после паузы, опустилась на колени Брагина. Потом — Ксения Ли.

Сазонов стоял. Долго. Илья слышал его дыхание.

Потом — опустился тоже.

Они сидели так на белой террасе над бухтой — четверо, на коленях, с опущенными головами. Пять минут. Десять.

Ничего не происходило.

А потом Илья услышал шаги.

Лёгкие. Мягкие. Босые. Маленькие.

Он поднял голову — медленно, очень медленно.

Перед ним, в трёх шагах, стоял ребёнок.

Мальчик. Лет пяти. Тёмноволосый, кудрявый, в светлой рубашке до колен. Босой. Илья видел его плохо — сквозь дымку, как сквозь запотевшее стекло, — но видел. Мальчик стоял и смотрел на него. На четырёх странных существ, стоящих на коленях посреди террасы.

В руке у мальчика что-то было. Маленькое. Белое.

За его спиной, в арке, — высокая тень. Женщина. Протянувшая руку, как будто хотела схватить его и не успела. Застывшая.

Мальчик сделал шаг вперёд. Ещё один.

Протянул руку.

На ладони лежала пластина. Маленькая, белая, тонкая, как стекло.

Илья не двигался. Не дышал.

Мальчик подождал. Потом — с той серьёзной, сосредоточенной осторожностью, с какой дети кормят незнакомую собаку, — положил пластину на белую плиту перед Ильёй. В полуметре от его колен.

И убежал.

Назад. В арку. К женщине. Она схватила его, прижала к себе, — и Илья слышал, как она что-то говорит ему, быстро, тихо, сердито и испуганно одновременно, как говорят все матери на свете, когда ребёнок сделал что-то опасное.

А потом они исчезли в глубине двора.

* * *

Илья поднял пластину.

Тёплую. Гладкую.

На ней был рисунок. Детский — неровный, старательный, с толстыми линиями.

Корабль. Большой, серый, угловатый. Над ним — дым. На нём — фигурки. Тёмные, без лиц. С палками в руках.

А рядом, на берегу, — дерево. Большое. С веерами листьев. И под деревом — маленькая фигурка. Светлая. С поднятой рукой.

И между кораблём и деревом — стрелка. От дерева — к кораблю.

А на конце стрелки, у самого борта серого корабля, — кружок. Маленький, с лучами. Солнце.

Или цветок.

Илья смотрел на пластину долго. Потом передал её Брагиной. Та — Ксении. Та — Сазонову.

Сазонов смотрел дольше всех. Его резкое, сухое лицо было неподвижным. Только желваки ходили на скулах.

— Что это значит? — спросил он наконец. Хрипло.

Илья покачал головой.

— Не знаю, — сказал он. — Я думаю — он нам что-то дарит. Цветок. Или солнце. Чудовищам, которые пришли на серых кораблях с палками в руках.

Сазонов долго молчал. Потом осторожно, двумя пальцами, как держат что-то хрупкое, отдал пластину Илье.

— Моя племянница, — сказал он, — рисует так же. Точно так же. Солнце с лучами. В углу каждого рисунка.

Он встал с колен. Отряхнул брюки. Посмотрел на пустую арку, где исчезли мальчик и женщина.

— Я доложу, — сказал он. — В Москву. Всё. Как было. — Он помолчал. — И про пластину. И про то, что они прячутся от нас, как от чудовищ.

Он повернулся и пошёл обратно. Вниз. К берегу. К флагу, вокруг которого росли беннеттиты.

Илья смотрел ему вслед.

Потом посмотрел на пластину в своей руке. Серый корабль. Дерево. Стрелка. Солнце.

Подарок. От ребёнка, которому велели прятаться. Который всё-таки вышел.

Он спрятал пластину во внутренний карман. Туда, где лежала тетрадь Горелова.

И пошёл за Сазоновым.

Глава 7. Кают-компания

Встречу назначили на британском фрегате. Это предложил сам британец — командир фрегата, командер Эдвард Пирс, сорок шесть лет, сухой, рыжеватый, с безупречными манерами и с усталыми глазами человека, который третью неделю стоит со своим маленьким кораблём между тремя большими флотами.

— Мой корабль — самый маленький, — сказал он по радио всем троим. — Самый слабый. Никому не угрожает. И у меня лучший чай в Южном полушарии. Предлагаю нейтральную территорию.

Американцы согласились первыми. Китайцы — через сутки. Наши — через двое, после согласования с Москвой.

Двадцатого июня, в десять утра по местному времени — которое, впрочем, давно уже ничего не значило, — к фрегату подошли три катера.

* * *

Кают-компания была маленькой. Длинный стол, покрытый зелёным сукном. Портрет короля на стене. Медная доска с названиями сражений, в которых участвовали корабли с тем же именем за последние триста лет. Иллюминаторы — круглые, с латунными рамами. За ними — серое море и тёмная стена леса на берегу.

Илья сел туда, куда ему показали. Справа от него — наш контр-адмирал, Северов, невысокий, плотный, молчаливый, с тяжёлыми веками. Слева — Сазонов. Напротив — американцы: контр-адмирал Хейл, худой, седой, с лицом человека, который спит по четыре часа, и рядом с ним — женщина.

Ребекка.

Илья не видел её пятнадцать лет. Она постарела — конечно. Морщины у глаз. Седина в рыжих волосах — она их больше не красила. Похудела. Но глаза были те же. Зелёные, быстрые, насмешливые. Глаза человека, который неделю сидел в облаках в Атакаме и сказал потом: «Ради этого стоило».

Она посмотрела на него через стол. Чуть улыбнулась.

Он кивнул.

В торце стола — китайцы. Контр-адмирал Чэнь, немолодой, полный, с круглым неподвижным лицом и внимательными узкими глазами. Рядом с ним — человек в штатском, худой, молодой, с планшетом. И чуть позади — ещё один.

Лю Вэй.

Илья видел его лицо только на видеосвязи, на маленьком экране, весной, когда они вместе следили за дрожью линий в спектре. Сейчас он сидел в трёх метрах. Невысокий, худой, в очках в тонкой оправе, с коротко стриженными седеющими волосами. Он поднял глаза, увидел Илью — и тоже чуть заметно кивнул. Человек с планшетом рядом с ним сразу повернул голову.

А в другом торце, рядом с командером Пирсом, сидел ещё один человек. Которого Илья никак не ожидал здесь увидеть.

Пожилый. Загорелый до черноты. С обветренным лицом, с выцветшими голубыми глазами, с седой щетиной. В старом свитере, в выцветших брюках, в резиновых сапогах. С руками, на которых были видны следы пчелиных укусов.

— Мистер Сэмюэл Маккой, — сказал Пирс, когда все сели. — С острова Питкэрн. Правительство его величества сочло правильным пригласить его как представителя людей, которые первыми ступили на эту землю. — Он помолчал. — Мистер Маккой согласился прийти при одном условии. Что ему дадут сказать несколько слов. В начале. Прежде всех. Я ему обещал.

Хейл чуть поднял брови. Чэнь не шевельнулся. Северов — тоже.

Сэмюэл Маккой встал.

* * *

Он не готовился. Это было видно. Он стоял у стола в своём старом свитере, держа в руках потёртую кепку, и долго смотрел на неё, как будто там было что-то написано.

Потом поднял голову.

— Меня зовут Сэм, — сказал он. На английском — медленном, тяжёлом, с непривычным выговором, который Илья с трудом понимал. Переводчик «Зари», седой бывший дипломат, переводил ему тихо, на ухо. — Я пасечник. И я вожу длинную лодку. Я не умею говорить с адмиралами. — Он помолчал. — Но я был там. Первым. С Томом, с отцом Дэвидом и с Джошем. Мы ступили на эту землю двадцать шестого мая, в девять утра.

Он посмотрел в иллюминатор. На лес.

— Я хочу сказать вам одну вещь, — сказал он. — Всего одну. Потом сяду и буду молчать. Тишина.

— Двести тридцать восемь лет назад мои прадеды пришли на пустой остров, — сказал Сэмюэл. — Мятежники с «Баунти». Девять англичан. И двенадцать женщин с Таити — их взяли с собой, не спрашивая. И шесть мужчин-таитян — их взяли как работников. Как слуг. Пятнадцать мужчин на всех. Остров был маленький. Земли — мало. Англичане поделили её между собой. Таитянам не дали ничего. — Он помолчал. — Через три года таитяне взбунтовались. Убили пятерых англичан. Потом англичане и женщины убили всех таитян. Потом англичане стали убивать друг друга. Один напился и упал со скалы. Другого зарубили топором. Через десять лет из пятнадцати мужчин остался один. Джон Адамс. И десять женщин. И двадцать три ребёнка.

Он покрутил в руках кепку.

— Остров был пустой, — сказал он. — Вода, рыба, земля, солнце. Всего хватало. На всех. Но они пришли туда с одной мыслью — это наше. Моё. Не твоё. И из-за этой мысли — убили друг друга. На пустом острове. Где всего хватало.

Он поднял глаза. Обвёл взглядом стол. Хейла. Чэня. Северова. Пирса.

— Эта земля, — сказал он, — не пустая. Я видел. Там люди. Там дети. Там сады и лодки. Они живут там дольше, чем мы живём на Питкэрне. Дольше, чем кто-нибудь из ваших стран существует. — Он помолчал. — Я не знаю, как вы будете её делить. Я пасечник. Но я знаю, чем это кончается. Мои предки знали. Мы на Питкэрне двести лет учим это детей. В школе. Чтобы не забывали. — Он положил кепку на стол. — Это не ваша земля. И не наша. Это их земля. А мы — гости. Вот и всё.

Он сел.

Долго никто не говорил.

Потом командер Пирс — тихо, без выражения — сказал:

— Спасибо, мистер Маккой. Чаю?

* * *

Потом говорили адмиралы.

Хейл — первым. Ровно, сухо, по бумаге. Соединённые Штаты осуществляют эффективное присутствие на северном побережье с пятого июня. Соединённые Штаты признают, что ситуация беспрецедентна. Соединённые Штаты готовы обсуждать «механизмы координации» с другими государствами, присутствующими на территории. Соединённые Штаты не признают территориальных претензий других государств, основанных на присутствии, начавшемся позднее.

Чэнь — вторым. Через переводчика, медленно, вежливо. Китайская Народная Республика осуществляет научную деятельность на западном побережье. Китайская Народная Республика выступает за «совместное освоение на основе взаимной выгоды». Китайская Народная Республика не признаёт права какого-либо одного государства на территорию, которая является «общим достоянием человечества».

Северов — третьим. Коротко. Без бумаги. Российская Федерация предлагает всем сторонам подписать договор. По образцу Договора об Антарктике пятьдесят девятого года. Территория — зона мира и науки. Никаких военных баз. Никакой добычи. Никаких территориальных претензий. Все флаги — снять. — Он помолчал. — Текст проекта — у вас. Наш МИД разослал его вчера в ваши столицы.

Хейл и Чэнь переглянулись.

— Адмирал Северов, — сказал Хейл. — Я читал проект. Он прекрасен. Но вы ведь понимаете, что ваш отряд пришёл сюда последним? Что у вас здесь меньше всех кораблей, меньше всех людей? Что предложить всем уйти — это самое выгодное, что может сделать тот, кто пришёл последним?

Северов посмотрел на него из-под тяжёлых век.

— Понимаю, — сказал он. — А вы понимаете, что если бы мы пришли первыми, мы бы, может быть, не предложили?

Хейл долго смотрел на него. Потом — неожиданно — засмеялся. Коротко, сухо.

— Честно, — сказал он. — Спасибо за честность, адмирал.

* * *

Потом — по просьбе Пирса — говорили учёные.

Ребекка — первой. Она встала, разложила на зелёном сукне фотографии. Платформы с флагами. Белеющий песок вокруг них. Шестиугольники. Кольца ростков.

— У всех трёх флагов, — сказала она. — Одинаково. Через двадцать минут после установки — песок начинает белеть. Через несколько часов — узор. Через сутки — ростки. Беннеттиты. По одному в каждой ячейке. — Она помолчала. — И у всех трёх — пульс.

Она положила последнюю фотографию. График. Ломаная линия, едва отличимая от шума. И в шуме — если присмотреться — регулярные всплески. Три. Пауза. Четыре. Пауза. Один. Долгая пауза. Три. Четыре. Один.

— Сейсмодатчики у основания каждой платформы, — сказала Ребекка. — Наш. Китайский — доктор Лю мерил. Российский — доктор Ланской мерил вчера. Один и тот же ритм. С точностью до долей секунды. Три. Четыре. Один. Период — три часа сорок одна минута семнадцать секунд.

Тишина.

— Это что, сигнал? — спросил Хейл. — Код? Они нам что-то передают?

Ребекка посмотрела на Илью. Потом — на Лю Вэя.

— Мы спорили об этом всю ночь, — сказала она. — По радио. Втроём. — Она помолчала. — Доктор Лю думал, что это вопрос. Я думала — предупреждение. А доктор Ланской...

Она замолчала. Посмотрела на Илью.

Илья встал.

— Адмирал, — сказал он, обращаясь ко всем троим сразу. — Вы когда-нибудь били в колокол?

Хейл поднял брови.

— Каждый колокол, — сказал Илья, — звучит на своей ноте. Её называют собственной частотой. Она зависит от формы колокола, от металла, от толщины стенок. Как ни ударь — молотком, палкой, кулаком, — колокол всё равно отзовется одной и той же нотой. Своей. Ему всё равно, чем по нему ударили. Он может отвечать только тем, что он есть.

Он помолчал.

— Мы полгода смотрели на звезду, — сказал он. — Я, доктор Холт, доктор Лю. И видели, как она дрожит. Три, четыре, один. Три часа сорок одна минута семнадцать секунд. Мы думали — это ритм звезды. Пульс умирающего сердца. — Он покачал головой. — Я теперь думаю — нет. Это был не её ритм. Это была собственная частота. Не звезды. Того, что между нами

и ими. Той стены, той границы, той геометрии, которая разделяла два мира. Звезда просто ударила в неё. Изо всей силы. И граница зазвенела. Своей нотой. Три, четыре, один.

Он посмотрел в иллюминатор.

— А теперь граница исчезла. Миры легли друг на друга. Но нота осталась. Она — в самой земле. В этом материке. В каждом его камне. И когда мы бьём в него — вонзаем флагшток, ставим стальную платформу, — он отвечает. Единственным, чем может. Своей нотой.

— Колокол, — сказал Хейл медленно.

— Колокол, — согласился Илья. — Мы бьём в колокол. Он звенит.

Тишина.

И тогда Лю Вэй — тихо, со своего места позади китайского адмирала, не вставая, — сказал по-английски:

— Но колокол звенит, только если по нему бьют.

Все повернулись к нему. Человек с планшетом рядом с ним дёрнулся, как будто хотел что-то сказать, — и не сказал.

— Доктор Ланской прав, — продолжал Лю Вэй. Голос был ровным, очень спокойным. — Это не код. Это не вопрос. Это не предупреждение. Это — звон. Отклик. Но я хочу сказать то, о чём мы спорили до утра. — Он помолчал. — Колокол молчит, когда его не трогают. Пульс под нашими платформами — есть. А под деревьями — нет. Под домами — нет. Под их лодками на причалах — нет. Я проверял. Я ставил датчики везде, где мог. Звенит только там, где стоит то, что мы принесли. Флаг. Сталь. Оружие. — Он посмотрел на Чэня. На Хейла. На Северова. — Материк звенит от нас. Только от нас.

* * *

Потом был перерыв.

Пирс разлил чай. Действительно хороший — крепкий, тёмный, с молоком, в толстых белых кружках с эмблемой фрегата. Адмиралы разошлись по углам — каждый со своими людьми, вполголоса. Сэмюэл Маккой стоял у иллюминатора и смотрел на лес.

Ребекка подошла к Илье. Встала рядом. Близко.

— Пятнадцать лет, — сказала она по-английски.

— Пятнадцать, — согласился он.

— Ты постарел.

— Ты тоже.

Она засмеялась. Тихо. Как тогда, в Атакаме.

— Илья, — сказала она. — Я должна тебе сказать. В марте. Когда меня отстранили. Я сидела на кухне и смотрела на твой препринт. На конверты. На генераторы. На таблицы старика из Сибири. И думала — он был прав. Всё это время. Он видел раньше всех. А я не поверила ему в январе. По телефону. Помнишь?

— Помню. Ты сказала — «это невозможно».

— Я сказала — «это невозможно». — Ребекка посмотрела в иллюминатор. — Прости.

— Не за что. Это и было невозможно.

Она долго молчала.

— Илья. Ты видел их? Лицом к лицу?

— Одного, — сказал он. — В Москве. Пятнадцатого мая. Ночью. После Новой Земли.

— И?

Илья долго не отвечал.

— Он меня боялся, — сказал он наконец. — Он смотрел на меня так, как ты бы смотрела на того, кто пришёл убить твоих детей.

Ребекка ничего не сказала. Только положила ладонь ему на рукав. Коротко.

К ним подошёл Лю Вэй. С кружкой чая. Человек с планшетом стоял в трёх шагах — смотрел, слушал.

— Ланской, — сказал Лю Вэй. — Холт. — Он посмотрел на них обоих. — Мы с вами полгода разговаривали. По почте. По видео. По радио. Я рад, что мы наконец за одним столом.

— Лю, — сказал Илья тихо. — Тебе не опасно?

Лю Вэй чуть улыбнулся.

— Опасно, — сказал он. — Мне всё опасно с двадцать пятого марта. — Он покосился на человека с планшетом. — Товарищ Ван хороший человек. Он пишет всё, что я говорю. Я говорю только то, что думаю. Пусть пишет. — Он помолчал. — Ланской, я хочу сказать одну вещь. Пока мы рядом.

— Говори.

— Вчера на нашу базу привезли буровую установку, — сказал Лю Вэй. Очень тихо. Очень ровно. — После двенадцатого июня земля держит. Сваи держатся. Бур входит. Они пробурили скважину. Сто метров. У подножия гор. Керн — платиноносный дунит. Содержание — сорок граммов на тонну.

Ребекка вздрогнула.

— Сорок граммов? — переспросила она. — Это... это много?

— В Норильске, — сказал Илья медленно, — в лучших рудах — несколько граммов на тонну. В Южной Африке, в Бушвельде, — пять-десять. Сорок — это...

— Это никогда не было на Земле, — сказал Лю Вэй. — Никогда. Ни в одном месторождении. — Он помолчал. — И у американцев — то же. Мне сказали. Утром. Они бурили позавчера. На восточном склоне. — Он посмотрел на Ребекку. — Ты не знала?

Ребекка медленно покачала головой.

— Мне не сказали, — сказала она тихо.

— Мне тоже не должны были, — сказал Лю Вэй. — Но я на этой базе — геометрия. Меня спросили: если бурить глубже, на километр, — не обрушится ли что-нибудь. Не сломается ли. Не... зазвенит ли. — Он смотрел в свою кружку. — Я сказал — не знаю. Я сказал — материк звенит от каждого флага. А что будет от скважины в километр — я не знаю.

Он поднял глаза.

— Они начнут бурить, Ланской. Все. Скоро. Я видел лицо адмирала Чэня, когда ему принесли керн. — Он помолчал. — Договор вашего МИДа прекрасен. Но его никто не подписывает. Не теперь. Не после сорока граммов на тонну.

* * *

После перерыва адмиралы договорились.

Не о договоре. О «временном меморандуме о взаимной сдержанности». Три страницы. Никто не применяет силу против кораблей и персонала других государств. Никто не применяет силу против «объектов на территории». Стороны информируют друг друга о передвижениях. Стороны «продолжают консультации».

Хейл подписал. Чэнь подписал. Северов подписал. Пирс подписал — как свидетель и как представитель государства, которое «также имеет интересы».

Про бурение в меморандуме не было ни слова.

Сэмюэл Маккой не подписывал. Его не просили. Он сидел у иллюминатора всю вторую половину встречи, молча, как обещал, и смотрел на лес.

Когда все вставали, он поднялся тоже. Подошёл к Илье. Протянул руку — широкую, жёсткую, в следах пчелиных укусов.

— Вы — русский, — сказал он медленно, по-английски. — Который про звезду.

— Да.

— Отец Дэвид сказал мне, что вы видели их. Ближе всех.

— Одного. Близко.

Сэмюэл кивнул.

— Мы на Питкэрне двести лет учили детей одной вещи, — сказал он. — Что пришедший на чужую землю с мыслью «это моё» — убивает. Сначала других. Потом — своих. Потом — себя. — Он помолчал. — Они бурят, да? Уже?

Илья кивнул.

Сэмюэл долго смотрел в иллюминатор.

— Тогда скажите им, — сказал он. — Тем, кто живёт там. Если сможете. — Он помолчал. — Скажите, что не все. Что не все мы — такие. Что был старик Том, который встал на колени. Что был отец Дэвид, который поднял руку. — Он надел кепку. — Пусть хотя бы это знают. Когда начнётся.

Он повернулся и ушёл. По узкому корабельному коридору. К трапу. К своему катеру.

* * *

Вечером, на «Заре», Илья узнал новость.

Её принёс Кононов, штурман, — молодой, рыжий, лопоухий. Он слушал ночью все частоты подряд — от скуки, от бессонницы, от того, что сутки становились всё длиннее и он никак не мог к ним привыкнуть.

— Илья Сергеевич. Индийское радио. На английском. Двадцать минут назад.

Илья взял листок с записью.

«Индийская организация космических исследований сообщает: по данным спутниковой альтиметрии, в западной части Индийского океана, в районе Маскаренского хребта и к северо-востоку от Мадагаскара, зафиксирован подъём морского дна. Площадь аномалии — около трёх миллионов квадратных километров. Скорость подъёма — около двадцати метров в сутки и возрастает. Правительство Индии созвало экстренное заседание. Военно-морские силы приведены в повышенную готовность. Аналогичные заявления сделали правительства...»

Дальше Кононов не дописал.

Илья опустил листок.

Тетрадь Горелова лежала у него на столе. Он открыл её. Страница сорок.

Индийский океан. Маскаренский хребет. Кергеленское плато. Аккуратный, угловатый, наклонный почерк. Пометка на полях, подчёркнутая дважды: «Лемурия. Склейте, был прав — только не у нас».

Он посмотрел на дату в листке. Двадцатое июня.

Через месяц после Немо. Как Горелов и считал.

Илья закрыл тетрадь. Вышел на палубу.

Над материком стояла ночь. Длинная — длиннее, чем вчера. Южный Крест висел над лесом. А на берегу, у кромки леса, в трёх точках — на севере, на западе и здесь, на юго-востоке, — горели огни трёх баз. Белые, резкие, электрические.

А над холмами, где стояли города, — мягкий, тёплый, янтарный свет.

И где-то там, под тремя флагами, едва слышно, так, что не поймёт ни одно ухо, — бился колокол.

Три. Четыре. Один.

Глава 8. Словарь

Вера завела тетрадь в конце мая. Обычную, школьную, в клетку, с котёнком на обложке — других в ларьке у метро не было. На первой странице написала крупно, печатными буквами: «СЛОВАРЬ». И ниже, мелко: «Не смеяться».

Смеяться было некому. Тетрадь она никому не показывала. Даже Соне.

Слова в тетради были странными. Не слова — описания.

«Капля в воду после ветра в траве — Лиэн».

«Дыхание на стекло — его дочка. Новорождённая».

«Тёплый камень в ладони — „всё хорошо“. Ая так говорит, когда я грущу».

«Птица взлетает с ветки, и ветка ещё качается — „уходить“. Или „прощаться“. Или „до вечера“. Не понимаю разницы».

«Холодная вода по спине — страх. Так было пятнадцатого. Так было, когда они пели».

«Мёд, который тянется с ложки, — „долго“. Или „медленно“. Или „терпение“».

К концу июня в тетради было сорок три таких строчки. Вера перечитывала их по вечерам, сидя на изогнутом диване в нише у западной стены, рядом с горячей чашей, — и понимала, что ничего не понимает.

Потому что это были не слова. Это было то, что она чувствовала, когда Ая что-то ей «говорила». Не звуки — их языка Вера так и не слышала, только иногда, на краю слуха, что-то похожее на шелест, на дыхание, на далёкую музыку. Не картинки — хотя иногда были и картинки, мелькающие, как сны. А вот это: ощущение. Тёплый камень в ладони. Капля в воду. Мёд с ложки.

Как будто их язык был не в ушах. А где-то глубже. В теле.

* * *

Тетрадь нашла мама.

Не нарочно. Вера забыла её на диване в нише, а Ольга, проходя мимо утром со своим фонендоскопом, — она теперь каждое утро обходила дом, как отделение, — подняла её, чтобы не намочила от брызг каскада. Открыла. Прочитала первую страницу. Вторую.

Вера увидела это с галереи и бегом спустилась вниз.

— Мама! Это моё!

Ольга подняла голову. Лицо у неё было странным. Не сердитым. Не насмешливым. Каким-то... сосредоточенным. Как у врача, который смотрит на снимок и видит на нём то, чего не ожидал.

— Вера, — сказала она. — Это ты сама придумала? Эти описания?

— Это не описания. Это... — Вера запнулась. — Это так и есть. Так они говорят.

Ольга долго смотрела на тетрадь.

— «Тёплый камень в ладони — „всё хорошо“», — прочитала она вслух. Тихо. — Верунь, ты знаешь, что это такое?

— Что?

— Соматосенсорная кора. — Ольга подняла на неё глаза. — Участок мозга, который отвечает за ощущения тела. Прикосновение. Тепло. Холод. Вес. Если стимулировать его током — человек чувствует, что его коснулись, хотя никто не касался. Что ему тепло, хотя холодно. — Она помолчала. — Вера, ты описываешь не слова. Ты описываешь, какие участки мозга у тебя включаются, когда она... говорит.

Вера молчала.

— Можно, я покажу Денису? — спросила Ольга. — И Наталье Андреевне?

Вера долго думала. Потом кивнула.

* * *

Через три дня в Сониной комнате стоял энцефалограф.

Не шапочка — настоящий, большой, на шестьдесят четыре канала, из Ольгиного отделения. Денис привёз его на «газели», вместе с ноутбуками, проводами, гелем для электродов и ящиком печенья. Ветрова приехала следом — с генератором случайных чисел и с Петром Андреевичем.

Пётр Андреевич теперь жил в Лосином острове. С Ньютоном. В комнате на втором этаже, рядом с Борисом Ефимовичем, — два старых инженера быстро нашли общий язык. Он поправился, загорел, давление было сто двадцать на восемьдесят без всяких таблеток. Он снова видел их — так же ясно, как в Сибири. Яснее. И снова вёл журнал. Новую тетрадь. Тот же чертёжный почерк.

— Вера Ильинична, — сказал он, садясь рядом с ней на край кровати. — Я посмотрел ваш словарь. С вашего разрешения. — Он помолчал. — Это — лучшее, что я видел с февраля. Это — метод. Вы, сами того не зная, сделали то, что делает любой хороший инженер, когда сталкивается с неизвестным прибором. Записывает входной сигнал и выходной сигнал. Не пытаетесь понять, что внутри. Просто — записываете. — Он поправил очки. — Теперь давайте попробуем записать то же самое приборами.

Опыт был простым. Как всё, что придумывал Пётр Андреевич.

Вера сидела на кровати в шапке с шестидесятью четырьмя электродами, с проводами, тянувшимися к ноутбуку Дениса. Рядом с ней — Ая. Её не было видно Денису, не было видно Ветровой. Петру Андреевичу — было. Он сидел в кресле у окна, с тетрадью, и смотрел на Аю.

Когда Ая «говорила» — Вера нажимала кнопку. Одну — левой рукой. И сразу, не думая, записывала карандашом, что почувствовала. «Тёплый камень». «Капля в воду». «Мёд».

Пётр Андреевич в своём кресле нажимал свою кнопку. Когда видел, что Ая поворачивается к Вере, или наклоняется к ней, или что-то делает губами. Независимо. Вера его кнопку не видела, он её — тоже.

Денис писал всё. Шестидесят четыре канала. Каждую миллисекунду.

Ветрова сидела в углу с ноутбуком и считала совпадения.

Через два часа она подняла голову.

— Девяносто одно, — сказала она. — Из девяноста шести. Нажатие Веры совпадает с нажатием Петра Андреевича в пределах трёх секунд. Девяносто одно из девяноста шести. — Она помолчала. — Вероятность случайности я считать не буду. Это уже даже не смешно.

Денис смотрел в свой ноутбук. Долго. Потом сказал:

— Ольга Андреевна. Подойдите. Пожалуйста.

* * *

На экране была карта мозга. Вид сверху — овал, разделённый на доли, с цветными пятнами.

— Вот, — сказал Денис. Голос у него дрожал. — Средняя картинка. По всем девяноста одному событию. За две секунды до нажатия кнопки. Смотрите.

Ольга смотрела.

Мозг Веры — в эти две секунды — светился. Не весь. Пятнами. Гамма-ритм — та самая частота, сорок и одна десятая, — вспыхивал в разных местах. И в разных местах — для разных «слов».

— «Тёплый камень», — сказал Денис. Переключил. — Вот. Соматосенсорная кора. Левое полушарие. Область ладони. Как вы и сказали. — Переключил. — «Капля в воду». Слуховая кора и... вот здесь, островок. Он отвечает за внутренние ощущения, за то, что мы чувствуем внутри тела. — Переключил. — «Холодная вода по спине». Миндалины. Страх. И снова островок. — Переключил. — «Мёд с ложки». Это... — Он запнулся. — Это интересно. Это зона, которая отвечает за ощущение времени. Мозжечок и базальные ганглии. «Долго». «Медленно».

Он поднял глаза на Ольгу.

— Ольга Андреевна, — сказал он. — У каждого «слова» — своя карта. Свой рисунок. Постоянный. Десять одно событие — и каждый раз, когда Вера чувствует «тёплый камень», загорается одно и то же место. Как будто... как будто они не говорят словами. Они говорят прямо в мозг. Нажимают на клавиши. И мозг Веры переводит это на свой язык — как может. Через то, что у него есть. Через тело.

Ольга долго молчала.

— Это можно расшифровать, — сказала она наконец. Медленно. Как будто сама не верила. — Если у каждого «слова» — своя карта... Если записать достаточно... Если научить машину узнавать карты...

— Как в двадцать третьем году в Калифорнии, — сказал Денис. — Парализованная женщина, которая не могла говорить. Ей вживили электроды в речевую зону. Она думала слова — а машина их читала. И произносила вслух. Синтезированным голосом. Восемьдесят слов в минуту. — Он помолчал. — Или в Техасе — там вообще без электродов, на томографе. Человек слушал рассказ — а машина по картине мозга восстанавливала смысл. Не дословно. Но смысл.

— Только там машина читала мысли самого человека, — сказала Ветрова из угла. — А здесь...

— А здесь — того, кто думает в него, — сказал Пётр Андреевич. Тихо. Из своего кресла у окна. — Переводчик, Наталья Андреевна. Не человек — машина. Которая смотрит на мозг Веры Ильиничны и говорит: сейчас Ая сказала «всё хорошо». Сейчас — «страшно». Сейчас — «долго».

Он посмотрел на Аю. Та сидела на кровати рядом с Верой, болтала ногами и с любопытством разглядывала провода, торчащие из Вериной шапки.

— Девочка, — сказал Пётр Андреевич. По-русски. Мягко. — Ты понимаешь, что мы делаем?

Ая повернула к нему голову. Посмотрела. Долго.

Вера вздрогнула.

— Что? — спросила Ольга.

— Тёплый камень, — сказала Вера тихо. — И... птица с ветки. И мёд. — Она открыла глаза. — Мама. Она сказала — «да». И — «хорошо». И — «это долго».

Денис посмотрел на экран.

Соматосенсорная кора. Левое полушарие. Область ладони.

* * *

Горелова выписали двадцать третьего июня.

Он вернулся в Лосиный остров на такси — сам, без предупреждения, никому не сказав. Ольга узнала, когда он уже стоял в арке — похудевший, ещё более маленький и сутулый, в том же Андреевом пиджаке, с пакетом из больницы аптеки и с тремя новыми тетрадами под мышкой.

— Арсений Викторович! — Ольга бросилась к нему. — Вам ещё неделю лежать! Я договаривалась!

— Ольга Андреевна, — сказал Горелов, — в больнице меня пытались кормить манной кашей. Это бесчеловечно. — Он посмотрел во двор. На полный бассейн. На каскады в нишах. На кадки между ними. — Ой.

Кадки больше не были пустыми.

С двадцатого мая — с того вечера, когда в чашах впервые загорелся огонь, — в кадках что-то начало расти. Сначала — ростки. Потом — побеги. Теперь, к концу июня, в каждой кадке стояло маленькое деревце. Гинкго. Молодые, в рост человека, с всерами светло-зелёных

листьев. Двенадцать — по одному между каждым двумя нишами. И под ними — папоротники. Мох. Что-то цветущее, белое, мелкое, похожее на звёздочки.

Горелов стоял в арке и смотрел на это.

— Гинкго, — сказал он. — Знаете, Ольга Андреевна, что гинкго пережили Хиросиму? Шесть деревьев. В полутора километрах от эпицентра. Всё вокруг сторело, а они весной снова дали листья. До сих пор растут. Японцы называют их «деревья-носители надежды».

Он помолчал.

— Тот, кто посадил их здесь, — знал?

Ольга не ответила.

* * *

Вечером Горелов сидел у бассейна, укрытый пледом, — Ольга заставила, — и Вера сидела рядом. С Аей на коленях. И с тетрадью.

Горелов читал словарь. Медленно. Страницу за страницей. Иногда останавливался. Иногда качал головой.

— «Мёд с ложки — долго, медленно, терпение», — прочитал он вслух. — Вера Ильинична, вы знаете, что это — очень красиво?

Вера смутилась.

— Почему?

— Потому что у нас так не бывает. У нас «долго» — это слово. Звук. Пять букв. Оно ничего не говорит телу. А у них «долго» — это мёд. Что-то сладкое, тягучее, приятное. — Горелов закрыл тетрадь. — Значит, для них «долго» — это хорошо. Ждать — это хорошо. Терпение — это сладко. — Он помолчал. — А у нас «долго» — это мучение. Очередь. Ожидание. Скука.

Он посмотрел на Аю.

— Вера Ильинична. Спросите её одну вещь. Если можно.

— Какую?

— Кто приходил ко мне. В больницу. Ночью. Ваша мама видела. Высокий. В светлом. Держал руку над моей грудью.

Вера закрыла глаза.

Долго молчала.

Потом сказала — медленно, как будто переводила с трудного языка:

— Старая. Очень старая. Женщина. Из дома у больницы. — Она помолчала. — Тёплый камень. Много тёплых камней. И... вода, которая течёт вверх. Не знаю, что это. — Она открыла глаза. — Арсений Викторович, она не врач. У них нет врачей. Ая так говорит. У них есть... те, кто знает, где больно. И делает, чтобы не было больно. Не лекарствами. Не ножом. Просто — знает. И держит руку.

Горелов долго молчал.

— Спросите её, — сказал он наконец. Голос у него был хриплым. — Почему ко мне. Я — один из нас. Из тех, кто бомбил. Почему она пришла ко мне?

Вера снова закрыла глаза.

Ая у неё на коленях повернулась. Посмотрела на Горелова. Долго. Серьёзно. Как смотрят дети, которые не понимают, почему взрослые задают такие простые вопросы.

— Мёд, — сказала Вера тихо. — И тёплый камень. И... — Она запнулась. Открыла глаза. На глазах были слёзы. — И «тебе было больно». Просто — «тебе было больно». — Она вытерла глаза. — Ая говорит — у них не спрашивают, кто ты. Если тебе больно — приходят. Вот и всё.

Горелов отвернулся. Смотрел на воду. Долго.

Потом сказал — не Вере, не Ае, а куда-то в воду, в отражение огня в чашах:

— Нина, ты бы видела.

* * *

Мир тем временем узнавал про Лемурию.

Вера видела это по телевизору в Сониной комнате — урывками, когда Наталья Сергеевна включала новости. Карта Индийского океана. Пятно между Мадагаскаром и Индией — длинное, вытянутое, похожее на изогнутое перо. Альтиметрия. Цифры. Двадцать метров в сутки. Сорок. Восемьдесят.

Индия отправила флот. Пакистан — тоже. Франция — фрегат с Реюньона: остров лежал прямо на краю пятна, и французы считали, что их экономическая зона продолжается на новую сушу. Маврикий и Сейшелы — у них не было флотов — обратились в ООН и в Международный суд. Мадагаскар — тоже. Австралия заявила, что «внимательно следит». Китай отправил вторую эскадру. Американцы — авианосец из Бахрейна.

Слово «Лемурия» появилось в газетах на второй день. Кто-то из журналистов раскопал историю про Склейтера, про лемуров на Мадагаскаре и в Индии, про затонувший материк, который сто пятьдесят лет назад объявили сказкой. Через неделю это слово знал весь мир.

А в Москве тем временем начали переводить часы.

Не на час — на десять минут. Каждую ночь. Потом — на двенадцать. Потом — на пятнадцать. Правительство объявило это «астрономической коррекцией» — чтобы полдень по часам совпадал с полднем по Солнцу. Сутки к концу июня стали длиннее на двенадцать минут, и с каждым днём удлинялись дальше. Люди жаловались, ругались, путались. Опаздывали на работу. Не высыпались. Поезда ходили не по расписанию. Школы — те, что ещё не ушли на каникулы, — сдвинули начало уроков.

— А вот у меня никаких проблем, — сказал Денис, когда они с Ольгой обсуждали это за ужином в столовой. — Знаете почему?

— Почему?

— Потому что внутренние часы у человека — не двадцать четыре часа. — Денис улыбнулся. — Это проверяли. В шестидесятые годы немецкий врач Юрген Ашофф сажал добровольцев в бункер под землёй. Без окон, без часов, без всего. Живи как хочешь. Спи когда хочешь. Ешь когда хочешь. Месяц. И оказалось, что без солнца человек сам по себе живёт по циклу чуть длиннее суток. Двадцать четыре и две десятых часа. У кого-то — двадцать пять. — Он помолчал. — Мы всю жизнь каждое утро чуть-чуть подводим свои часы. Солнцем. Будильником. Кофе. А теперь сутки сами становятся длиннее. Ближе к тому, что у нас внутри. — Он отпил чай. — За гены этих внутренних часов в семнадцатом году дали Нобелевскую. Трёх американцам. Они нашли их у мушек-дрозофил.

— Значит, нам будет легче? — спросила Вера.

— Если сутки остановятся на двадцати пяти часах — да, — сказал Денис. — Будет легче, чем было. Мы будем лучше высыпаться. — Он посмотрел на неё. — Если остановятся.

* * *

Двадцать восьмого июня Ая проснулась ночью с криком.

Вера спала рядом — на той же кровати, в Сониной комнате, — и проснулась от того, что маленькое тело рядом с ней дёрнулось. Как от удара.

— Ая. Ая, что ты?

Ая сидела на кровати. Глаза — широко открыты. Смотрела в стену. Не в стену — сквозь. Куда-то далеко.

И Вера почувствовала.

Холодная вода по спине. Много. Как ледяной душ.

И — что-то новое. Чего не было в словаре. Чего Вера никогда не чувствовала. Тяжёлое. Тупое. Ритмичное. Как удары. Как будто кто-то бьёт в огромный барабан. Далеко. Под землёй. Под водой.

Раз-два-три.

Пауза.

Раз-два-три-четыре.

Пауза.

Раз.

Вера вскочила. Посмотрела на часы на телефоне. Два сорок одна ночи. Она не знала, что это значит. Но знала, что это важно.

Ая плакала. Беззвучно. Прижимая ладони к ушам.

— Мам! — Вера бросилась к соседней кровати. — Мама, проснись!

Ольга проснулась сразу. Как просыпаются врачи. Села. Посмотрела на Аю — она не видела её, но видела, куда смотрит Вера.

— Что случилось?

— Им больно, — сказала Вера. — Мам, им больно. Там. На том материке. Где папа. — Голос у неё дрожал. — Они слышат... Я не знаю, что это. Удары. Как барабан. Три, четыре, один. Каждые... — Она запнулась. — Ая говорит — каждые три часа. С тех пор, как пришли корабли. С тех пор, как поставили флаги. Все слышат. Все, кто там живёт. Дети не могут спать. Старики не могут спать. Они слышат это всё время. Внутри. — Вера сглотнула. — А сегодня стало громче. Намного громче. Потому что... потому что...

Она закрыла глаза. Ая у неё за спиной всхлипывала.

— Потому что кто-то начал копать, — сказала Вера. — Глубоко. Очень глубоко. Под горой. Под тем городом, где лодки.

Ольга смотрела на неё.

— Где спутниковый телефон? — спросила Вера. — Мам. Где телефон? Мне надо позвонить папе. Прямо сейчас.

* * *

Илья ответил через четыре гудка. Голос — хриплый, сонный, с эхом в полсекунды.

— Верунь? Что случилось? Сколько у вас?

— Пап. — Вера говорила быстро, сбиваясь. — Пап, слушай. Колокол. Ты говорил Горелову — колокол. Три, четыре, один. Под флагами. — Она перевела дыхание. — Они его слышат, пап. Все. Все, кто живёт на том материке. Каждый раз. Каждые три часа сорок одну минуту. Как удар в голову. Они не могут спать. Дети плачут. С пятого июня. С тех пор, как вы пришли.

Тишина в трубке.

— А сегодня — громче. Намного. Ая проснулась с криком. Ей отсюда слышно — понимаешь? Из Москвы. Через полмира. — Вера сжала телефон. — Пап, кто-то копает. Под горой. Под городом с лодками. Глубоко. Это ваши?

Тишина. Долгая. Полсекунды эха — и ещё пять секунд тишины.

— Верунь, — сказал Илья наконец. Голос был другим. Не сонным. — Под городом с лодками стоит наша база. Наш флаг. Вчера к ней подвезли буровую установку. С эсминца. — Пауза. — Мне сказали — геологическая разведка. Мне сказали — для науки.

Вера молчала.

— Я разберусь, — сказал Илья. — Сейчас. Прямо сейчас.

— Пап...

— Что?

Вера посмотрела на Аю. Та сидела на кровати, прижав ладони к ушам, и смотрела в стену. Сквозь стену. Туда, на юг, за восемнадцать тысяч километров.

— Пап, там мальчик, — сказала Вера тихо. — В том городе. Маленький. Кудрявый. Ая его знает. Ну, не знает — чувствует. Он тебе что-то дал. Пластинку. С солнцем.

— Да.

— Он не спит, пап. Третьи сутки. Он сидит на террасе над бухтой и смотрит на ваш корабль. И ждёт.

— Чего?

Вера закрыла глаза.

— Он думает — ты придёшь, — сказала она. — Он думает — тот, кто сидел на коленях, — придёт и остановит. — Она помолчала. — Он думает, что ты не такой, как они.

Глава 9. Буровая

Илья положил спутниковый телефон на стол и долго сидел, не двигаясь.

В каюте было темно. Иллюминатор — чёрный. Часы на переборке показывали без двадцати четыре утра по корабельному времени, которое уже ничего не значило. На берегу — он знал, не глядя, — горели огни базы. Белые, резкие, электрические. И среди них — новый. Самый яркий. Над буровой вышкой.

Он встал. Оделся. Вышел.

* * *

Брагина не спала. Она сидела в кают-компании, одна, при свете настольной лампы, с сигаретой и с толстой папкой. Перед ней на столе лежал керн. Цилиндр породы длиной в полметра, диаметром с кулак. Тёмно-зелёный, почти чёрный, с мелкими блестящими вкраплениями.

Она подняла глаза, когда Илья вошёл.

— Знала, что придёте, — сказала она. — Садитесь.

Он сел. Посмотрел на керн.

— Это оттуда?

— Оттуда. С трёхсот сорока метров. Вчера вечером принесли. Попросили посмотреть. — Брагина затянулась. — Я посмотрела.

— И?

Брагина долго молчала.

— Дунит, — сказала она наконец. — Почти чистый оливин. Хромит — вот эти чёрные зёрна. А вот эти блёстки... — Она взяла лупу, протянула ему. — Посмотрите.

Илья посмотрел. Под лупой блёстки стали зёрнами. Серебристо-серыми, с металлическим блеском, неправильной формы. Мелкими — с маковое зерно. Много.

— Самородная платина, — сказала Брагина. — Не в соединениях. Не в сульфидах. Самородная. Металлическая. Видимая глазом. — Она забрала лупу. — Я сорок лет в геологии, Илья Сергеевич. Я видела самородную платину три раза в жизни. На Урале, в старых россыпях, — крупинки. В Колумбии — в музее. На Кондёре, в Хабаровском крае, — там есть кольцевой массив, почти такой же, как этот, круглый, как блюдце. Оттуда самые красивые кристаллы платины в мире. В музеях стоят. — Она положила лупу. — А здесь — в каждом сантиметре керна.

Она помолчала.

— Я им сказала, что считать не буду. Ещё во Владивостоке. — Она смотрела на керн. — Они не спрашивали меня. Они привезли своего геолога. С эсминца. Молодого. Тот посчитал за двадцать минут. У него глаза горели, как у ребёнка, которому подарили велосипед.

— Сколько?

— Не важно сколько. — Брагина затушила сигарету. — Важно, что они уже позвонили в Москву. В два часа ночи. И в Москве уже не спят.

Илья молчал.

— Вам дочь звонила, да? — спросила Брагина. — Я слышала. У вас переборка тонкая.

— Да.

— Колокол? — Брагина посмотрела на него. — Они слышат колокол?

— Все. Каждые три часа сорок одну минуту. С пятого июня. — Илья помолчал. — А когда начали бурить — громче.

Брагина долго смотрела на керн. Потом встала. Взяла с вешалки куртку.

— Пойдёмте, — сказала она.

— Куда?

— На буровую. — Она застегнула куртку. — Я хочу посмотреть сама.

* * *

Катер довёз их до берега за десять минут. Сазонов поехал с ними. Без вопросов — он просто ждал у трапа, одетый, с фонарём, когда они вышли на палубу. Как будто знал.

База спала. Только часовые у модулей — двое морпехов в бронежилетах — проводили их взглядами. Узнали Сазонова, кивнули, пропустили.

Буровая стояла в полукилометре от модулей. Ближе к лесу. Ближе к городу. Илья видел её издали — стальная вышка в двадцать метров, обвешанная прожекторами, с гудящим дизель-генератором, с трубами, сложенными штабелем, с вагончиком для бурильщиков. Вокруг — песок. Белый, светящийся в свете прожекторов. И в песке — узор. Шестиугольники. Не маленькие, с ладонь, как вокруг флага, — большие. С метр каждый. И уходящие от вышки во все стороны. К лесу. К городу. К горам.

Кольца ростков вокруг вышки не было.

Вместо него — Илья увидел это, когда подошёл ближе, — была пустая полоса. Метров десять шириной. Ровная, белая, гладкая. Как выжженная.

Нет. Не выжженная. Как будто ростки посадили — и они не взошли. Отказались.

Бурильщиков было трое. Пожилой мастер — кряжистый, лысый, с седыми усами, в промасленной спецовке — и двое молодых. Они стояли у вагончика, курили, смотрели, как вращается колонна. Мастер увидел Сазонова — подобрался. Увидел Брагину — удивился.

— Тамара Ильинична? Вы ж не...

— Не, — согласилась Брагина. — Не буду. Я посмотреть. — Она подошла к нему. Протянула руку. — Здравствуй, Семёныч.

Мастер пожал руку. Осторожно, как берут что-то хрупкое.

— Знакомы? — спросил Илья.

— Кольская, — сказала Брагина. — Восемьдесят девятый год. Сверхглубокая. Он был младшим бурильщиком, я — практиканткой. — Она посмотрела на мастера. — Двенадцать километров двести шестьдесят два метра, Семёныч. Помнишь?

— Помню, — сказал мастер. Глухо. — Глубже никто так и не пробурил. Ни до, ни после.

* * *

Илья знал про Кольскую сверхглубокую. Все знали. Самая глубокая дыра, которую люди когда-либо проделали в Земле. Советский проект, начатый в семидесятом году, — бурили двадцать лет, чтобы узнать, что там, внизу. Хотели пройти пятнадцать километров. Прошли двенадцать с небольшим. На этой глубине порода оказалась горячей — сто восемьдесят градусов вместо ожидаемых ста, — и начала течь, как пластилин, и затягивать скважину. Остановились. Закрыли. Скважина до сих пор стоит в заброшенном посёлке за Полярным кругом, закрытая ржавой стальной крышкой, приваренной к бетону. Её фотографируют туристы.

А ещё — вспомнил Илья — была легенда. Глупая, страшная, разошедшаяся по миру в девяностые: будто на Кольской на глубине четырнадцати километров бур провалился в пустоту, и туда опустили микрофон, и в микрофоне были слышны крики. Миллионов людей. «Скважина в ад». Её пересказывали по христианскому радио в Америке, в газетах, потом в интернете. Это была выдумка — от начала до конца. Скважина не доходила до четырнадцати километров. Микрофонов туда не опускали. «Крики» оказались звуковой дорожкой из старого фильма ужасов, замедленной и искажённой.

— Знаете, что смешно? — сказала Брагина, глядя на вращающуюся колонну. — Про Кольскую придумали, что там слышны крики. Враньё. А здесь... — Она не договорила.

Она подошла к колонне. Близо. Положила ладонь на стальную трубу — у основания, там, где она уходила в белый песок.

Подержала. Долго.

Потом отдернула руку. Как от огня.

— Семёныч, — сказала она. Голос был другим. — Останови.

— Тамара Ильинична, у меня приказ...

— Останови, — сказала Брагина. — На минуту. Положи руку. Сам.

Мастер долго смотрел на неё. Потом кивнул одному из молодых. Тот подошёл к пульту. Дизель сбавил обороты. Колонна замедлилась. Остановилась.

Стало тихо. Только генератор гудел — ровно, низко.

Мастер подошёл к колонне. Снял рукавицу. Положил ладонь на трубу.

И Илья увидел, как изменилось его лицо.

* * *

— Что там? — спросил Сазонов.

Мастер не ответил. Он стоял, держа ладонь на трубе, и смотрел вниз, на белый песок, в который она уходила. Губы у него шевелились — он считал.

Раз. Два. Три.

Пауза.

Раз. Два. Три. Четыре.

Пауза.

Раз.

— Бьётся, — сказал он хрипло. — Тамара Ильинична, она бьётся. Как живая. Как... — Он запнулся. — Как сердце. Три, четыре, один.

— Сколько у вас глубина? — спросил Илья.

— Пятьсот восемьдесят.

— А когда начали — было?

Мастер повернулся к нему. Посмотрел. Долго.

— Было, — сказал он. — Сначала — еле-еле. Я думал — вибрация от генератора. На двухстах метрах — сильнее. На трёхстах — я уже рукой чувал. А на пятистах... — Он отнял ладонь от трубы. — На пятистах — это уже не вибрация. Это — удар. Каждые три с половиной часа. Как будто кто-то снизу — кулаком. По трубе. По нам.

— Почему не доложили?

Мастер пожал плечами.

— Доложил. Майору. Майор — капитану эсминца. Капитан — адмиралу. — Он помолчал. — Адмирал сказал — бурить. Сказал — американцы уже на девятистах. Китайцы — на тысяче ста. Отставать нельзя.

* * *

Илья позвонил Олегу Николаевичу в пять утра по местному. В Москве было четыре часа дня.

Олег Николаевич выслушал. Молча. Илья рассказал всё — Веру, Аю, колокол, мальчика на террасе, руку мастера на трубе. Три, четыре, один. Пятьсот восемьдесят метров.

— Илья Сергеевич, — сказал Олег Николаевич наконец. Голос был очень усталым. — Я знаю.

— Знаете?

— Мне сегодня утром доложили. От адмирала. Про пульс в трубе. — Пауза. — Его записали. Датчиками. Это уже в отчёте. Пошло наверх.

— И что наверх?

Олег Николаевич долго молчал.

— Наверх, Илья Сергеевич, ушло ещё одно, — сказал он. — Цифра. Содержание платины в керне. — Пауза. — После этой цифры отчёт про пульс никто не читал.

Илья стоял на берегу, у кромки леса, с телефоном у уха. Над морем светлело. Длинный рассвет — длиннее, чем вчера.

— Олег Николаевич, — сказал он. — Они слышат это. Все. Дети не спят. С пятого июня. Это — пытка. Мы их пытаем. Каждые три часа сорок одну минуту. Просто тем, что стоим здесь со своим железом. А теперь — бурим.

— Я понимаю.

— Нет, — сказал Илья. — Вы не понимаете. Там мальчик. Пять лет. Кудрявый. Он мне подарил рисунок. С солнцем. Он третьи сутки сидит на террасе и смотрит на наш корабль. Он думает, что я приду и остановлю.

Тишина в трубке.

— Илья Сергеевич, — сказал Олег Николаевич медленно. — Есть меморандум. Который подписали адмиралы на британском фрегате. Вы его читали?

— Читал.

— Пункт второй.

Илья вспомнил. «Стороны воздерживаются от применения силы против кораблей, персонала других государств и объектов на территории».

— Объектов на территории, — сказал Олег Николаевич. — Что такое «объект на территории», Илья Сергеевич?

Илья молчал.

— Это формулировка из антарктического договора, — сказал Олег Николаевич. — МИД сам её вставил. Неопределённая. Никто не знает, что под ней понимать. Американцы думают — это их модули. Китайцы — их платформы. А если кто-нибудь — какой-нибудь учёный, руководитель научной группы, на месте, — официально, письменно, с данными, доложит адмиралу, что бурение под городом является применением силы против объекта на территории... — Он помолчал. — Адмирал будет обязан приостановить работы. До разъяснения. Из Москвы. А разъяснение из Москвы... — Он снова помолчал. — Разъяснение из Москвы может идти долго. Очень долго. Москва большая. Бумаги в ней теряются.

Илья стоял неподвижно.

— Вы мне этого не говорили, — сказал он.

— Не говорил, — согласился Олег Николаевич. — Я вообще сплю. У нас четыре часа дня, а я сплю. — Пауза. — Илья Сергеевич. Пишите быстро. Пока в Москве не проснулись.

* * *

Рапорт Илья написал за сорок минут. В каюте, на ноутбуке, сухим казённым языком, который ненавидел всю жизнь.

«Руководителю отряда контр-адмиралу Северову Н. П. от руководителя научной группы Ланского И. С.

Довожу до вашего сведения следующее.

1. Бурение скважины № 1 осуществляется в 1,2 км от застройки (объект «Город-1», юго-восточное побережье).

2. Датчики фиксируют распространение колебаний от устья скважины в сторону объекта «Город-1» (данные прилагаются: сейсмограммы, 14 листов).

3. Амплитуда колебаний возрастает пропорционально глубине бурения (график прилагается).

4. По данным наблюдений (приложение 3: протокол Ширяева — Ветровой, Москва), колебания воспринимаются населением объекта как болевое воздействие.

5. Таким образом, бурение скважины № 1 является воздействием на объект на территории в смысле пункта 2 Меморандума о взаимной сдержанности от 20 июня.

6. Прошу приостановить бурение до получения разъяснений из Москвы о толковании пункта 2 Меморандума.

Ланской».

Он перечитал. Дважды. Подписал. Распечатал в штурманской на принтере, который Кононов, зевая, включил специально для него.

Сазонов прочитал рапорт, стоя у принтера. Медленно. Каждый пункт.

Потом взял ручку. И под подписью Ильи дописал — мелким, чётким, флотским почерком:

«С изложенным согласен. Считаю необходимым приостановить работы во избежание нарушения Меморандума. Представитель командования в научной группе капитан второго ранга Сазонов А. О.».

Он поставил подпись. Посмотрел на Илью.

— Меня за это, наверное, снимут, — сказал он спокойно. — Брат будет рад. Скажет — наконец-то.

Брагина взяла ручку у него из рук. Расписалась ниже. Без комментариев.

Потом — Ксения Ли. Потом — биолог. Потом — врач. Потом — все двенадцать.

Четырнадцать подписей.

* * *

Адмирал Северов читал рапорт долго.

Он сидел в своей каюте на большом противолодочном корабле — маленькой, тесной, с откидной койкой, с фотографией жены и двух внуков на переборке. Невысокий, плотный, с тяжёлыми веками. Не поднимал глаз от бумаги. Илья стоял у двери. Сазонов — рядом.

Наконец Северов положил рапорт на стол. Посмотрел на подписи. На последнюю — Сазонова.

— Артём Олегович, — сказал он. — Вы понимаете, что вы сделали?

— Так точно, товарищ контр-адмирал.

— Вы — представитель командования. Вы здесь, чтобы следить, чтобы научная группа не лезла туда, куда не надо. А вы подписали их бумагу.

— Так точно.

— Почему?

Сазонов помолчал.

— Потому что я был в том городе, товарищ контр-адмирал. Без оружия. На коленях. И ко мне подошёл ребёнок. — Он помолчал. — И потому что меморандум — это приказ. А пункт два — это часть приказа. Я выполняю приказ.

Северов смотрел на него долго. Из-под тяжёлых век. Ничего не говорил.

Потом посмотрел на Илью.

— Илья Сергеевич. Вы ведь понимаете, что американцы и китайцы бурят дальше? Что через неделю у них будет километр, через месяц — два? Что если мы остановимся, а они нет, — мы отстанем навсегда? Что в Москве мне за это голову оторвут?

— Понимаю.

— И всё равно.

— И всё равно.

Северов вздохнул. Тяжело. Поднял трубку внутренней связи.

— Капитана эсминца, — сказал он. — Да. Северов. — Пауза. — Скважина номер один. Приостановить работы. Немедленно. До получения разъяснений из Москвы о толковании пункта второго меморандума. — Пауза. — Да. Письменно. Сейчас пришлю. — Он положил трубку.

Посмотрел на Илью.

— Разъяснения из Москвы, — сказал он медленно, — придут не раньше чем через неделю. Я лично прослежу, чтобы мой запрос дошёл до правильного стола. Очень правильного. Очень медленного. — Он помолчал. — Вы этого от меня не слышали.

— Не слышали, — сказал Сазонов.

Северов кивнул на дверь.

— Свободны. Оба.

Уже в дверях Илья обернулся.

— Николай Петрович, — сказал он. — Спасибо.

Северов не поднял головы. Смотрел на фотографию на переборке. На жену. На внуков.

— У меня старшему внуку пять лет, — сказал он. — Кудрявый.

* * *

Колонна остановилась в семь сорок утра. Илья видел это с берега. Генератор стих. Проекторы погасли. Мастер Семёныч стоял у вагончика, курил, смотрел на вышку.

Илья пошёл в город.

Один. Без Сазонова, без Брагиной. Без оружия. С пустыми руками.

По тропе через лес. По белой дорожке. Мимо огромных гинкго, мимо рощ беннеттитов. Мимо первых стен. Под арку с резным сводом, светящимся по кромке тёплым янтарём.

Город был таким же пустым, как в прошлый раз. Улицы — пусты. Мосты — пусты. Террасы — пусты. Только силуэты в арках, в окнах, за резными перилами галерей. Неподвижные. Смотрящие.

Он вышел на террасу над бухтой. Ту самую.

Мальчик был там.

Сидел на краю, у резной балюстрады, обняв колени. Маленький, кудрявый, в светлой рубашке до колен. Смотрел на море. На серый корабль у горизонта. Лицо — осунувшееся, бледное, глаза — красные. Как у ребёнка, который не спал три ночи.

Он услышал шаги. Повернул голову.

Увидел Илью.

Не вскочил. Не убежал. Смотрел.

Илья подошёл. Медленно. Не на расстояние вытянутой руки — дальше. Метра на три. И сел. На тёплые белые плиты. Рядом. Не напротив — рядом. Тоже лицом к морю. К серому кораблю.

Они сидели так долго. Минуту. Пять.

Потом мальчик пошевелился. Повернулся к нему. Посмотрел — внимательно, серьёзно, как смотрят дети, которые проверяют, правду ли им сказали.

Илья не знал, что делать. Он не знал их языка. Он не знал их жестов. Он знал только одно.

Он поднял руку. Показал на вышку — там, внизу, у кромки леса, тёмную, молчащую, без прожекторов. Потом сжал ладонь в кулак. И медленно — очень медленно — опустил кулак на колено. Разжал. Положил ладонь плашмя.

Остановилось.

Мальчик смотрел на его руку. Долго.

Потом посмотрел на вышку.

Потом — Илья видел это — его плечи вдруг опустились. Как будто из них ушло что-то, что держало их три дня. Он зевнул. Широко, по-детски, неудержимо. Потёр глаза кулаками.

И лёг.

Прямо там, на тёплых плитах террасы. Свернулся калачиком, подложив ладонь под щеку. В трёх метрах от Ильи.

И уснул.

Илья сидел рядом и не двигался. Боялся пошевелиться. Смотрел, как ровно, медленно поднимается и опускается маленькая спина под светлой рубашкой.

Через несколько минут из арки вышла женщина. Та самая. Высокая, тёмноволосая, в светлом. Мать. Илья видел её смутно — сквозь дымку, — но видел. Она остановилась в арке. Посмотрела на спящего сына. На Илью.

Илья не двигался.

Женщина долго стояла. Потом медленно подошла. Опустилась на колени рядом с мальчиком. Положила руку ему на голову.

И подняла глаза на Илью.

Он не видел её лица. Только глаза — тёмные, огромные. В них не было страха. Не было благодарности. Было что-то другое. Что-то, чего он не понимал. Что-то очень усталое и очень старое.

Как будто она знала, что это — ненадолго.

* * *

Ребекка позвонила вечером. По научной частоте. Голос срывался.

— Илья. Илья, у нас... — Пауза. Треск. — Скважина. Тысяча двести метров. Час назад.

— Что случилось?

— Все, кто был рядом, — упали. — Голос Ребекки дрожал. — Двенадцать человек. Бурильщики, охрана, инженер. Без сознания. Просто — упали, как стояли. Как шестого февраля. — Она перевела дыхание. — Их подняли. Восемь пришли в себя через десять минут. Четверо — нет. Их на авианосце. Врачи не понимают. Энцефалограмма — как у вашей дочери. Сорок и одна десятая. Гамма. Сплошная. Не прекращается.

Илья стоял на палубе «Зари», сжимая трубку.

— А город? — спросил он. — Рядом с вашей базой? Что в городе?

Ребекка долго молчала.

— Никого, — сказала она наконец. — Илья, город пустой. Совсем. Они ушли. Все. Тени. Утром ещё были — я видела в бинокль, на галереях, в арках. А сейчас — никого. Ни одного силуэта. Огни в чашах — горят. Вода в бассейнах — течёт. А людей — нет.

— Куда?

— Не знаю, — сказала Ребекка. — Илья, они ушли. Из своего города. Из своих домов. Как уходят из-под бомбёжки. — Пауза. — Мы выжили их из дома. Даже не выстрелив.

Глава 10. Теннис

Ребекка не спала вторые сутки.

Она сидела в госпитальном отсеке авианосца — длинном, белом, ярко освещённом, пахнущем антисептиком и машинным маслом, — у кровати номер четыре. На кровати лежал морпех. Молодой. Двадцать два года. Светлые волосы, коротко стриженные. Веснушки на носу. Капельница в руке. Датчики на груди. Шапочка с электродами на голове — такая же, как у Ильиной дочери на фотографиях, которые Илья прислал ей весной.

Тайлер Хэнсон. Из Огайо. Тот самый. Который опустил винтовку, почувствовав тёплый песок. Который видел девочку, болтающую ногами в воде, — и спросил Ребекку на палубе, под Южным Крестом: «Мэм, кто здесь чудовище?»

Он стоял в охране у скважины, когда бур прошёл тысячу двести метров. И упал вместе с остальными.

Восемь из двенадцати очнулись через десять минут. Ошеломлённые, бледные, с головной болью, — но целые. Не помнили ничего. Как шестого февраля.

Четверо — нет.

Двое бурильщиков. Инженер. И Тайлер.

Прошло тридцать шесть часов.

* * *

— Это не кома, — сказала доктор Мендес.

Она была главным врачом авианосца — невысокая, смуглая, лет пятидесяти, с короткими седыми волосами и с привычкой говорить очень быстро, как будто боялась не успеть. Она стояла у монитора с энцефалограммой, скрестив руки на груди, и смотрела на зелёные линии, бегущие по экрану.

— При коме мозг спит, — сказала она. — Медленные волны. Дельта-ритм. Тишина. А здесь... — Она показала на экран. — Посмотрите. Гамма. Сорок герц. Чуть больше. Сорок и одна десятая. Высокая, ровная, синхронная. Во всех отделах сразу. Такая бывает у человека, который не спит. Который очень сосредоточенно что-то делает. Решает сложную задачу. Медитирует. — Она помолчала. — Тридцать шесть часов подряд. Без перерыва. У всех четверых. Синхронно. Если наложить их записи друг на друга — они совпадают по фазе.

— Как у русских, — сказала Ребекка. — В Лосином острове. В опыте Ветровой. Синхронные всплески у людей в разных комнатах.

— Я читала, — кивнула Мендес. — Только там — секунды. А здесь — полтора дня.

Она помолчала.

— Доктор Холт. Я двадцать лет в военной медицине. Я видела черепно-мозговые травмы, контузии, отравления газом, тепловые удары, наркотические комы. Я видела всё, что может случиться с мозгом молодого мужчины. — Она посмотрела на Тайлера. — Я никогда не видела такого. Этот мозг не спит. Он работает. На полную мощность. Просто — не здесь.

* * *

Контр-адмирал Хейл пришёл в госпитальный отсек вечером. Один. Без адъютантов. Встал у кровати Тайлера, долго смотрел на него.

— Он из моего сопровождения, — сказал он, не оборачиваясь. — Из охраны. Я его помню. Он всегда первым вставал, когда я входил. Всегда «да, сэр», «нет, сэр». Хороший парень.

Ребекка молчала.

— Мне звонили из Вашингтона, — сказал Хейл. — Час назад. Спрашивали, почему остановлено бурение. Я сказал — четыре человека без сознания. Я сказал — вопрос безопасности персонала. Они сказали — понятно. Сказали — найдите способ продолжить без риска для

персонала. — Он помолчал. — Дистанционное бурение. Роботизированный комплекс. Его уже грузят в Сан-Диего. Через две недели будет здесь.

— А город? — спросила Ребекка.

Хейл повернулся к ней.

— Город пустой, — сказал он. — Я знаю. Я был там сегодня утром. С разведкой. — Он помолчал. — Огни горят. Вода течёт. На столах в столовых — хлеб. Тёплый. Как будто они ушли пять минут назад. И — никого. Ни одного... — он запнулся, подбирая слово, — ни одного силуэта. Мои люди, которые раньше их видели, — сейчас не видят. Пусто.

Он посмотрел на Тайлера.

— Доктор Холт. Вы — специалист по этой... геометрии. Скажите мне. Что с ним? Где он? Ребекка долго молчала.

— Я не знаю, адмирал, — сказала она наконец. — Но, может быть, мы можем спросить его самого.

* * *

Она придумала это ночью. Сидя у кровати, глядя на зелёные линии гамма-ритма. Вспомнила статью, которую читала много лет назад, — не по своей специальности, просто попала в журнал, — и которая не давала ей покоя потом неделю.

Две тысячи шестой год. Кембридж, Англия. Нейробиолог Эдриан Оуэн. Пациентка — молодая женщина, двадцать три года, после автомобильной аварии. Вегетативное состояние. Пять месяцев. Глаза открыты, но никакой реакции. Ни на голос, ни на прикосновение, ни на боль. По всем медицинским критериям — сознания нет. Тело живёт, а человека в нём — нет.

Оуэн положил её в томограф. Тот, который видит, какие участки мозга работают. И сказал ей — громко, отчётливо, как говорят с человеком, который может слышать:

«Представьте, что вы играете в теннис».

И в её мозге загорелась дополнительная моторная область. Та, что отвечает за планирование движений. Так же, как у здоровых людей, которых просили представить теннис.

Тогда он сказал: «Представьте, что вы идёте по своему дому. Из комнаты в комнату».

И загорелась другая область. Парагиппокампальная извилина. Та, что отвечает за пространство, за ориентацию, за карты в голове. Тоже — так же, как у здоровых.

Она была там. Внутри. Слышала. Понимала. Выполняла просьбы. Просто не могла пошевелиться, не могла моргнуть, не могла ничего показать.

Потом Оуэн и его коллеги проверили десятки таких пациентов. И у каждого пятого — примерно — нашли то же самое. Сознание, запертое в неподвижном теле. А потом — пошли дальше. Стали задавать вопросы. «Если ответ „да“ — представьте теннис. Если „нет“ — представьте, что идёте по дому». «Вашего отца зовут Томас?» — теннис. «У вас есть братья?» — дом.

Люди, которых считали растениями, — отвечали. Через годы молчания.

— Мы не можем положить его в томограф, — сказала доктор Мендес, когда Ребекка рассказала ей. — У нас на авианосце нет томографа.

— Нам не нужен томограф, — сказала Ребекка. — У вас — энцефалограф на шестьдесят четыре канала. Двигательная кора — сверху, под макушкой. Если он представит движение — альфа- и бета-ритмы над ней должны подавиться. Это видно и на энцефалограмме. Не так точно, как на томографе. Но видно. Русские так делают — с дочерью Ланского. Я читала их протокол.

Мендес долго смотрела на неё.

— Доктор Холт, — сказала она. — У него гамма во всех отделах сорок герц полтора дня подряд. Если он там — он очень, очень занят.

— Тогда давайте попробуем его отвлечь, — сказала Ребекка.

* * *

Они начали в два часа ночи. Ребекка, Мендес, двое санитаров, техник с энцефалографом. И Хейл — он не ушёл, сидел в углу на стуле, в расстёгнутом кителе, с кружкой остывшего кофе.

Ребекка наклонилась к Тайлеру. Близко. К самому уху.

— Тайлер, — сказала она. Громко, отчётливо, медленно. — Тайлер Хэнсон. Это Ребекка Холт. Помнишь меня? Мы говорили на палубе. Про твою сестру. — Она помолчала. — Тайлер, если ты меня слышишь, — представь, что ты играешь в теннис. Просто представь. Ты на корте. У тебя ракетка. Ты бьёшь по мячу. Снова и снова. Тридцать секунд. Начинай.

Она отодвинулась. Посмотрела на техника.

Техник смотрел на экран. Пять секунд. Десять. Пятнадцать.

— Ничего, — сказал он. — Гамма — как была. Двигательная кора — без изменений.

— Ещё раз, — сказала Ребекка.

Ещё раз. Ничего.

Ещё раз. Ничего.

Хейл в углу поставил кружку на пол.

— Доктор Холт...

— Подождите, — сказала Ребекка. Она смотрела на Тайлера. На его лицо — неподвижное, спокойное, с закрытыми глазами. С веснушками на носу.

Двадцать два года. Огайо. Сестра шести лет, которая болтает ногами в бассейне у бабушки.

Он, наверное, никогда не играл в теннис. Мальчишки в Огайо не играют в теннис. Они играют в...

— Тайлер, — сказала она снова. Наклонившись к самому уху. — Забудь про теннис. Ты играл в бейсбол? В школе? Во дворе? С отцом?

Пауза.

— Если ты слышишь меня — ты на поле. У тебя в руках бита. Подаёт питчер. Ты замахваешься. Бьёшь. Снова. И снова. Тридцать секунд. Давай, Тайлер.

Она отодвинулась.

Техник смотрел на экран.

Пять секунд.

— Есть, — сказал он. Голос дрогнул. — Есть. Над двигательной корой. Справа и слева. Подавление мю-ритма. Как при движении. Как при... — Он поднял глаза. — Он замахивается, мэм. Он бьёт по мячу.

Хейл в углу встал.

* * *

Дальше было проще. И страшнее.

«Да» — бейсбол. «Нет» — ходить по дому, по своему дому в Огайо, из кухни в гостиную, из гостиной в свою комнату. Ребекка спрашивала. Техник смотрел на экран. Мендес записывала.

— Тайлер. Ты слышишь меня?

Бейсбол.

— Тебе больно?

Дом.

— Тебе страшно?

Дом.

Ребекка перевела дыхание.

— Ты знаешь, где ты сейчас?

Долгая пауза. Десять секунд. Пятнадцать.

Бейсбол.

— Ты на корабле? На авианосце?

Дом.

— Ты... — Ребекка запнулась. Посмотрела на Хейла. Тот стоял у кровати, сжав кулаки.
— Ты на материке?

Бейсбол.

— Ты — в городе? В том, что рядом с базой?

Дом.

— Ты... с ними?

Пауза. Долгая. Двадцать секунд. Тридцать.

Бейсбол. Сильно. Техник даже вздрогнул — так резко подавился ритм.

Ребекка закрыла глаза.

— Они делают тебе плохо?

Дом. Сразу. Без паузы.

— Они... — Она не знала, как спросить. — Они заботятся о тебе?

Бейсбол.

Хейл медленно опустился обратно на стул.

* * *

Через час Ребекка знала много. Не всё. Да-нет — это очень узкое окно. Как смотреть на мир через замочную скважину. Но через замочную скважину тоже можно увидеть многое, если долго смотреть.

Он был с ними. Не в городе у базы — дальше. Далеко. В глубине материка. Они ушли туда — все, весь город, — пешком, в тот же час, когда бур прошёл тысячу двести метров. И Тайлер — каким-то образом, он сам не понимал каким — ушёл с ними. Не телом. Тело лежало на авианосце. А он — там.

Ему не было больно. Ему не было страшно. О нём заботились.

Он видел их. Ясно. Совсем ясно. Как людей.

Они шли к озеру. Большому. В центре материка. Там был город. Самый большой. Самый старый.

И там была башня.

— Тайлер, — спросила Ребекка. Голос у неё сел. — Они знают, кто ты? Что ты — один из тех, кто пришёл на кораблях?

Бейсбол.

— И всё равно заботятся?

Бейсбол.

— Почему?

Она тут же поняла, что спросила глупость. На «почему» нельзя ответить «да» или «нет».

Но техник вдруг сказал:

— Мэм. Смотрите.

На экране что-то изменилось. Не мю-ритм над двигательной корой. Другое. Гамма-ритм — тот, что шёл ровно, сплошь, тридцать шесть часов, — вдруг вспыхнул ярче. В одном месте. Слева, сбоку, над ухом. И держался.

— Что это? — спросила Ребекка.

Мендес наклонилась к экрану.

— Височная доля, — сказала она тихо. — Слева. Верхняя височная извилина. Это... это слуховая кора. Зона Вернике рядом. Понимание речи. — Она выпрямилась. — Он что-то слышит. Прямо сейчас. Кто-то ему что-то говорит. Там.

Они смотрели на экран. Яркое пятно гамма-ритма над левым ухом. Пульсирующее. Ровное.

А потом — по щеке Тайлера, из-под закрытого века, медленно скатилась слеза.

* * *

Он очнулся через шесть часов. В восемь утра. Сам.

Ребекка дремала на стуле у кровати и проснулась от того, что кто-то сказал — хрипло, тихо, по-английски:

— Мэм?

Она открыла глаза.

Тайлер смотрел на неё. Глаза — голубые, ясные, совсем не сонные. Мокрые.

— Мэм, — сказал он. — Это вы спрашивали? Про бейсбол?

— Я.

— Я слышал. — Он облизнул сухие губы. — Я не мог ответить. Я пытался. Я там... я бил по мячу. Как вы сказали. Я думал — это глупо. Но я бил.

— Мы видели, — сказала Ребекка. — Тайлер. Мы видели. Ты ответил.

Он помолчал. Посмотрел в потолок.

— Где остальные? Майк? Дэнни? Инженер?

— Здесь. Рядом. Ещё не очнулись. — Ребекка помолчала. — Тайлер, где ты был?

Он долго не отвечал. Смотрел в потолок. По щекам текли слёзы — он не вытирал их.

— У них, — сказал он наконец. — Мэм, я был у них.

* * *

Он рассказывал два часа. Ребекка записывала. Мендес слушала. Хейл сидел на стуле у кровати — пришёл, как только ему сообщили, — и не говорил ни слова.

Он стоял у скважины. Охранял. Ему было скучно. Бур гудел. Потом — удар. Не звук — удар. Внутри. Как будто кто-то ударил его изнутри по голове. Огромным колоколом. Он упал.

И открыл глаза — в городе.

Тот же город. Тот, что у базы. Белые стены, арки, сады. Только — полный. Люди. Сотни. Тысячи. На улицах, на террасах, на мостах. Ясно. Совсем ясно. Как люди. Как он, как Ребекка, как адмирал.

Они уходили.

Все. Сразу. Без паники. Без криков. Матери несли детей. Взрослые вели стариков под руки. Кто-то нёс корзины. Кто-то — белые пластины, стопками, бережно, как носят книги из горячей библиотеки. Шли по широкой белой дороге — на юг. Вглубь материка. Длинной, медленной, молчаливой колонной.

А он лежал на песке у вышки. И не мог встать.

К нему подошли. Двое. Мужчина и женщина. Немолодые. Посмотрели на него. Он видел их лица. Обычные. Человеческие. Усталые.

Он ждал, что они... он не знал, чего ждал. Что ударят. Что убьют. Что пройдут мимо.

Женщина опустилась на колени рядом с ним. Положила ладонь ему на лоб. Тёплую. И что-то сказала. Он не понял слов. Но понял смысл.

«Тебе больно».

И его подняли. Вдвоём. Поставили на ноги. Повели. Вместе со всеми. По белой дороге. На юг.

— Мэм, — сказал Тайлер. — Я шёл с ними. Двое суток. Через лес. Через горы. Мимо рек. Мимо других городов — они тоже уходили, оттуда тоже шли колонны, всё сливалось в одну реку людей. И никто... никто на меня не смотрел как на врага. Они знали, кто я. Они видели мою форму. Они видели... — он запнулся, — видели, откуда я пришёл. И всё равно. Давали мне хлеб. Воду. Шли рядом. Когда я падал — поднимали.

— Куда они шли? — спросил Хейл. Первый раз за всё время.

Тайлер посмотрел на него.

— К озеру, сэр, — сказал он. — В центре. Там большой город. Самый старый. Они все туда идут. Со всего материка. Все, кто живёт рядом с нашими базами. Рядом с китайскими.

С русскими. Все. — Он помолчал. — Они уходят от колокола, сэр. От того, что звенит под нашими флагами. Там, у озера, — не звенит. Там тихо. Там можно спать.

Хейл долго молчал.

— А что ты слышал? — спросила Ребекка. — Под конец. Доктор Мендес видела — у тебя работала слуховая кора. Кто-то тебе что-то говорил.

Тайлер закрыл глаза.

— Старик, — сказал он. — Очень старый. Мы дошли до озера. Ночью. Там на берегу — башня. Белая. С куполом. Как у них везде. Только огромная. И у подножия башни — старик. Сидел на камне. Ждал. — Он помолчал. — Он ждал меня, мэм. Именно меня. Он знал, что я приду.

— Что он сказал?

Тайлер долго молчал. Слёзы текли по его лицу.

— Я не понял слов, — сказал он. — Это был не английский. Это вообще был не язык. Это было... как музыка. Как будто внутри головы играют на очень старом инструменте. — Он перевёл дыхание. — Но я понял смысл. Мэм, я понял. Я даже не знаю как.

— Что?

Тайлер открыл глаза. Посмотрел на Ребекку. Потом — на Хейла.

— Он сказал: «Мы уходим, чтобы вы перестали делать нам больно. Но земля не может уйти. Земле больно всё равно. Остановитесь — пока ей не стало больно так, что она закричит».

Тишина.

— И потом он положил мне руку на голову, — сказал Тайлер. — Вот так. — Он поднял руку, положил себе на лоб. — И сказал: «Иди обратно. Скажи им». — Он опустил руку. — И я проснулся. Здесь.

* * *

Хейл встал.

Медленно. Тяжело. Как старик. Застегнул китель. Посмотрел на Тайлера. На Ребекку. На доктора Мендес.

— Доктор Холт, — сказал он. — Русский. Ланской. Вы с ним на связи?

— Да, сэр.

— Позовите его сюда. На авианосец. Сегодня. — Он помолчал. — Я пошлю вертолёт.

— Адмирал, Вашингтон...

— Вашингтону, — сказал Хейл, — я сообщу, что пригласил иностранного специалиста для консультации по вопросу безопасности персонала. — Он посмотрел на Тайлера. — Это правда. — Он помолчал. — А потом — я хочу видеть это озеро. Своими глазами. С ним, с вами, с этим парнем. Без оружия.

Он повернулся к двери. Остановился.

— «Пока ей не стало больно так, что она закричит», — повторил он тихо. — Доктор Холт. Что значит — земля закричит?

Ребекка не ответила.

Она не знала. Никто не знал.

Но она вспомнила, что сказала ей Ксения Ли — русский океанолог — по радио неделю назад. Мимоходом. Как деталь. Сейсмографы по всему Тихому океану ловят слабый фон. Не землетрясения. Гул. Низкий. Ровный. Нарастающий. С периодом три часа сорок одна минута семнадцать секунд.

Три. Четыре. Один.

Не только под флагами. Под всем океаном.

Под всей Землёй.

Глава 11. Озеро

Вертолёт поднялся с палубы авианосца третьего июля, в шесть утра по местному времени.

Их было девять. Контр-адмирал Хейл — в полевой форме, без знаков различия, без оружия. Ребекка. Доктор Мендес — с медицинской сумкой. Тайлер Хэнсон — бледный, похудевший за четыре дня, но уже на ногах; врачи не хотели его отпускать, он сказал, что пойдёт пешком, если не возьмут. Илья. Сазонов — Северов отпустил его с одним словом: «Смотри». Лю Вэй. И рядом с Лю Вэем — товарищ Ван, худой, молодой, с планшетом, с неподвижным лицом.

Девятым был пилот. Пожилой, молчаливый, с седыми висками. Он сам вызвался.

Китайцев пригласил Хейл. Это было его решение — Илья узнал об этом только на палубе, когда увидел Лю Вэя у вертолёта.

— Если там действительно что-то есть, — сказал Хейл, — это должны увидеть все трое. Не один. Иначе потом каждый скажет, что другие врут.

* * *

Они летели над материком четыре часа.

Илья сидел у иллюминатора и смотрел вниз. И не мог оторваться.

Сначала — лес. Тот, что у побережья. Гинкго, хвойные ярусами, рощи беннеттитов. Тёмно-зелёный, густой, бесконечный. Реки — широкие, медленные, коричневатые от ила, вьющиеся между холмами. Белые точки городов — правильные, сотовые, по одному в центре каждой огромной невидимой ячейки.

Потом лес поредел. Начались холмы. Пологие, зелёные, с рощами по долинам. А между рощами — равнины. Травяные. Ровные, как столы. Высокая трава — золотистая, волнистая под ветром.

И на равнинах — стада.

Илья прижался лбом к стеклу.

Сотни. Тысячи. Животные шли по траве медленными, плотными стадами, как идут бизоны на старых фотографиях из американских прерий, как идут антилопы гну в Серенгети. Крупные — с быка, с лося, некоторые больше. На двух ногах, на четырёх. Покрытые перьями — рыжими, серыми, полосатыми, пятнистыми. С длинными шеями и маленькими головами. С гребнями, с наростами, с короткими рогами над глазами. Они паслись, щипали траву, поднимали головы на шум вертолёта — и снова опускали.

— Господи, — сказала Ребекка шёпотом. Она сидела рядом, тоже у иллюминатора. — Илья. Ты видишь?

— Вижу.

— Это... это...

— Динозавры, — сказал Илья. — Потомки. Тех, кто у нас вымер шестьдесят шесть миллионов лет назад. Там — нет.

Он видел их во сне. Девятого апреля. На поляне у белого дома в Лосином острове. Одного. Пушистого, рыже-серого, щиплющего траву.

А теперь — тысячи. Наяву.

Лю Вэй сидел через проход. Тоже смотрел в иллюминатор. Губы его шевелились — он что-то говорил сам себе по-китайски. Товарищ Ван рядом с ним тоже смотрел. Планшет лежал у него на коленях, забытый.

— Как они ужились? — спросила Ребекка. — Динозавры и... люди? Если у них были люди. Если это люди.

Илья помолчал.

— У нас приматы появились шестьдесят миллионов лет назад, — сказал он. — Почти сразу после астероида. Маленькие, как белки. В лесах, на деревьях. Динозавров уже не было.

Ниши освободились — и млекопитающие заняли их. — Он посмотрел вниз, на стада. — А у них... Может быть, их астероид упал в океан, глубже. Может быть, он был меньше. Может быть — не упал. Динозавры остались. И млекопитающие остались — маленькие, в лесах, на деревьях. Как были. И оттуда, с деревьев, — кто-то спустился. Позже. Медленнее. Не в пустой мир, а в мир, где уже были хозяева. — Он помолчал. — Может быть, поэтому они такие. Им пришлось с самого начала учиться жить рядом. Не завоёвывать. Не вытеснять. Жить рядом.

Ребекка долго молчала.

— А мы, — сказала она, — получили пустой мир. Нам ничего не пришлось учиться делить.

* * *

Вертолёт сел у дороги в одиннадцать утра. В ста двадцати километрах от озера — дальше пилот лететь отказался.

— Я не знаю, что там, — сказал он. — И не хочу, чтобы они видели вертолёт. — Он помолчал. — Тайлер говорит, они уходят от шума. Я — шум.

Дальше пошли пешком. По белой дороге.

Она была такой, как рассказывал Тайлер. Широкой — метров десять. Белой, гладкой, чуть пружинящей под ногами. Без единой трещины, без единого шва. Она шла через равнину, через рощи, через мосты над ручьями — плавно, без углов, как река. И по ней — шли.

Сначала Илья видел только следы. На белом — едва заметные отпечатки. Босых ног. Сотен. Тысяч. Маленьких и больших. Все — в одну сторону. На юг. К озеру.

Потом — к полудню — он начал видеть их самих.

Не сразу. Сначала — дрожание воздуха впереди, на дороге. Как над асфальтом в жару. Потом — силуэты. Смутные. Светлые. Медленно движущиеся. Потом — ясно. Яснее, чем в Лосином острове. Яснее, чем в портовом городе на юго-востоке.

Люди.

Колонна. Длинная — уходящая за горизонт. Шли медленно, неторопливо, как идут на дальнюю дорогу, когда некуда спешить. Женщины с детьми на руках. Мужчины с корзинами, с белыми стопками пластин. Старики — под руки с молодыми. Дети — бегом вдоль колонны, туда-сюда, как дети везде на свете. Кто-то пел — тихо, вполголоса. Кто-то разговаривал. Кто-то нёс на плечах маленького пушистого зверька — серого, длиннохвостого, похожего на белку.

— Почему мы их видим? — спросила Ребекка. Шёпотом. — Так ясно? Я не ела их хлеба. Никогда. И у вас, адмирал...

— Тишина, — сказал Лю Вэй.

Все посмотрели на него.

— Здесь тихо, — сказал он. — Колокол не звенит. Мы далеко от баз. От флагов. От скважин. — Он помолчал. — Я думаю — когда колокол звенит, он не только им мешает. Он мешает и нам. Мешает видеть. Как шум в эфире мешает слышать слабый сигнал. А здесь — тихо. И сигнал — чистый.

Хейл шёл впереди. Молча. Он не сказал ни слова с тех пор, как увидел колонну. Только смотрел.

Тайлер шёл рядом с ним. И вдруг — остановился.

— Сэр, — сказал он. — Это они. Те двое.

У обочины дороги, на траве, сидели двое. Мужчина и женщина. Немолодые. Женщина — седая, с короткими волосами, в длинном светлом платье. Мужчина — высокий, сутулый, с бородой. Они сидели рядом, и женщина кормила чем-то маленького ребёнка у себя на коленях, а мужчина смотрел на дорогу.

На них.

Тайлер медленно пошёл к ним. Хейл — за ним. Остальные остановились.

Женщина подняла голову. Увидела Тайлера. И — Илья видел это ясно, совсем ясно — улыбнулась. Устало, тепло. Как улыбаются знакомому, которого не ждали, но рады видеть.

Тайлер остановился в двух шагах. Опустился на одно колено. Как опускаются перед старшими.

Женщина протянула руку. Положила ему на лоб. Как тогда.

И что-то сказала.

Тайлер заплакал. Беззвучно. Стоя на одном колене в траве у белой дороги, с ладонью незнакомой женщины на лбу.

— Что она говорит? — спросил Хейл. Голос у него был хриплым.

— Она спрашивает, сэр, — сказал Тайлер, не оборачиваясь, — не больно ли мне больше.

* * *

Озеро они увидели к вечеру.

Сначала — блеск. Впереди, за последним холмом, на горизонте — полоса света. Широкая, золотая в закатном солнце. Потом — холм кончился. И они остановились на гребне.

Озеро лежало внизу, в огромной чаше между пологих холмов. Огромное — другой берег терялся в дымке. Синее. Спокойное. Ни одной волны. И в нём отражалось небо — розовое, золотое, лиловое, — и первые звёзды.

А по берегам — город.

Илья никогда не видел ничего подобного. Ни на Земле, ни во снах. Город поднимался от воды террасами, уступами, ярусами — белыми, светящимися изнутри тёплым янтарным светом. Мосты. Лестницы. Арки. Галереи. Сады — на каждой террасе, на каждой крыше. Каскады воды, падающие с уступа на уступ. Город обнимал озеро полукругом, на десятки километров, и на всех террасах, на всех галереях, на всех мостах, на берегу, у воды, на склонах холмов — были люди.

Сотни тысяч. Может быть — миллион.

Они не шумели. Не суетились. Сидели. На траве, на ступенях, на террасах, на берегу. Тихо. Вместе. Как в Лосином острове, в вечерней тишине. Только — миллион.

И над всем этим — на мысу, выдающемся в озеро, — башня.

Белая. Высокая — выше всего, что Илья видел у них. Круглая, сужающаяся кверху, как ствол огромного дерева. С куполом. Купол — открыт. В щели — длинное, белое, направленное в небо.

Туда, где перед рассветом над краем холмов поднимется Орион. Уже без звезды на плече.

* * *

Старик ждал их у подножия башни.

Как и говорил Тайлер. Сидел на камне. Плоском, сером, отполированном, — на нём, Илья увидел, когда подошёл ближе, были выбиты семь точек. Пояс, плечи, колени. Точка на плече — обведена кругом.

Тот самый камень. Из его сна.

Старик был очень стар. Илья видел его ясно — совсем ясно, как никого из них раньше. Худой, высокий даже сидя, с прямой спиной. Длинные белые волосы, собранные на затылке. Лицо — в глубоких морщинах, тёмное от солнца, с высокими скулами и с глазами... Илья не мог описать глаза. Тёмные. Очень спокойные. Очень старые. Как вода в глубоком колодце.

Он смотрел на них. На девятих — нет, на восьмьмых, пилот остался у вертолёт. На американского адмирала в полевой форме без знаков различия. На двух китайцев. На двух русских. На женщину-врача. На астронома из Калифорнии. На молодого морпеха.

Тайлер подошёл первым. Опустился на колено. Старик положил руку ему на голову. Подержал. Отпустил.

Потом посмотрел на остальных.

И Илья почувствовал.

Как Вера описывала. Не звук. Не слова. Что-то в теле. Тёплый камень в ладони — сначала. Потом — капля в воду. Потом — что-то новое, чего не было в Верином словаре: как будто кто-то очень осторожно трогает тебя за плечо и поворачивает лицом к чему-то, на что надо посмотреть.

Старик встал. Медленно, опираясь на камень. И пошёл к башне.

Они пошли за ним.

* * *

Внутри башня была пустой. Высокой, гулкой, светлой — свет шёл от стен, тёплый, янтарный. Наверх уходила лестница — спиралью, вдоль стены, без перил, как раковина улитки.

А пол...

Пол был картой.

Огромной. Мозаикой — из мелких камней, белых, серых, голубых, золотых, чёрных. Метров тридцать в поперечнике. Илья сначала не понял, что на ней. Потом понял. И у него подкосились ноги.

Две сферы. Рядом. Почти касающиеся. Одна — голубая, с белыми облаками, с очертаниями материков. Их Земля. Другая — тоже голубая, тоже с облаками, с материками, — но другими. Знакомыми. Евразия. Африка. Америки. Австралия.

Наша.

Между ними — тонкая золотая линия. Как граница. Как стена.

А над ними, в верхнем краю мозаики, — звезда. Красная. Большая. С лучами.

И от звезды — к золотой линии между мирами — тонкая чёрная черта.

Игла.

— Он знал, — сказал Лю Вэй шёпотом. — Они все знали. Тысячи лет.

Илья не мог ответить.

Старик стоял в центре мозаики. Ждал. Потом — снова то, тёплое, осторожное, поворачивающее. И Илья посмотрел туда, куда его повернули. На стену.

Вдоль стены, от пола до самого верха башни, шли полки. Белые, вырезанные в камне. На полках — пластины. Тысячи. Десятки тысяч. Стопками. Аккуратно. Нижние — тёмные, желтоватые, старые. Верхние — белые.

Журнал.

Илья подошёл к нижней полке. Взял пластину. Желтоватую, тяжёлую, с истёртыми краями. Орион. Кружок на плече. И строки чёрточек — редкие. Одна строка на пластину.

Он поднял голову. Посмотрел вверх. На спираль полок, уходящую к куполу.

Сколько лет? Сто? Тысяча? Десять тысяч?

Он не знал. Он знал только, что здесь, в этой башне, на берегу этого озера, — кто-то смотрел на его звезду, когда у нас строили пирамиды. Когда у нас ещё не было письменности. Может быть — когда у нас ещё не было людей.

И записывал.

* * *

А потом старик подвёл их к чаше.

Она стояла у стены. Каменная, круглая, широкая, на низком постаменте. Полная воды. Вода — неподвижная, как зеркало.

Старик опустил в воду руку. Медленно. Не касаясь дна. Подержал. Вынул.

По воде пошли круги. Ровные, правильные. От центра — к краям. Отразились от стенок. Пошли обратно. Встретились со следующими.

И — Илья видел это — начали складываться в узор. Не хаотичный — правильный. Стоячий. Неподвижные узлы и пульсирующие пучности. Шестиугольник. Как на поверхности Бетельгейзе у Ребекки на снимках. Как на песке вокруг флагов.

Старик снова опустил руку. В тот же момент — когда волна от первого раза шла к центру. Как раскачивают качели — в такт.

Узор стал ярче. Волны — выше.

Ещё раз. В такт.

Выше. Вода в чаше уже не колебалась — вздымалась. Плескалась на края.

Ещё раз.

Вода выплеснулась на пол. На мозаику. На две сферы и золотую линию между ними.

Старик отступил. Посмотрел на них. На каждого. Медленно.

И Илья понял.

* * *

— Резонанс, — сказал он. Хрипло. Сам не узнал своего голоса. — Это — резонанс.

Хейл повернулся к нему.

— Что?

Илья перевёл дыхание.

— Адмирал. Вы знаете, почему солдатам запрещают маршировать в ногу по мостам?

Хейл помолчал.

— Знаю, — сказал он. — Англия. Тридцатые годы девятнадцатого века. Висячий мост под Манчестером. Рота солдат шла по нему строем. В ногу. Мост рухнул.

— Броутонский мост, тысяча восемьсот тридцать первый год, — сказал Илья. — Шаг солдат попал в собственную частоту моста. Каждый шаг — маленький толчок. Ничего страшного. Но каждый — в такт. И каждый добавлял энергию к предыдущему. Мост раскачивался всё сильнее. Пока не сломался. — Он посмотрел на чашу. На лужу на мозаике. — Как качели. Толкаешь чуть-чуть — но в такт — и через минуту они взлетают выше головы.

— И при чём здесь...

— Земля тоже звенит, — сказал Илья. — Как колокол. Это не метафора. Это открыли в шестидесятом году, после Великого Чилийского землетрясения — самого сильного за всю историю измерений. Сейсмографы по всему миру несколько дней ловили медленные, ровные колебания. Всей планеты целиком. Как будто Землю ударили, и она гудела. Собственные колебания Земли. Самое медленное — период почти час. Пятьдесят четыре минуты. — Он помолчал. — А теперь у неё появилась новая нота. Три часа сорок одна минута семнадцать секунд. Наша общая граница. Которая исчезла, но осталась в камне.

Он показал на чашу.

— Каждая скважина, адмирал. Каждый метр бурения. Каждый флаг на стальной платформе. Это — шаги солдат по мосту. Маленькие толчки. Ничего страшного. Но мы толкаем — в такт. Потому что колокол сам задаёт такт. Он звенит — от наших скважин. И его звон — в ту же самую частоту. Каждый раз. Каждые три часа сорок одну минуту. — Он помолчал. — Энергия накапливается. Ксения Ли — наш океанолог — говорит, что сейсмографы по всему Тихому океану ловят гул. Нарастающий. С этой частотой.

Хейл молчал.

— «Пока ей не стало больно так, что она закричит», — сказала Ребекка тихо.

Илья кивнул.

— Если мы продолжим, — сказал он, — колокол раскачается. Как мост под солдатами. Как качели. Как вода в этой чаше. — Он посмотрел на лужу на полу. — И однажды выплеснется.

— Землетрясение? — спросил Хейл.

— Не одно, — сказал Лю Вэй. Тихо. Из-за спины Ильи. — Везде. Сразу. По всей Земле. На одной ноте.

* * *

Они вышли из башни, когда стемнело.

Над озером стояла ночь. Звёздная, тёплая, южная. Миллион людей сидел на берегу, на террасах, на склонах — тихо, неподвижно. В нишах горели чаши — тысячи янтарных огней, отражённых в чёрной воде.

Хейл стоял у края воды. Один. Долго.

Потом достал из нагрудного кармана спутниковый телефон.

Набрал номер.

— Это Хейл, — сказал он. — Мне нужен прямой канал. Да. Сейчас. — Пауза. — Мне всё равно, который у вас час.

Он отошёл. Илья не слышал, что он говорил.

К Илье подошёл Лю Вэй. Встал рядом. За ним — товарищ Ван. С планшетом в руке.

Ван смотрел на озеро. На огни. На миллион людей в тишине. Лицо у него было неподвижным, как всегда. Только — Илья видел это в свете чаш — по щекам у него текли слёзы.

— Ван, — сказал Лю Вэй по-русски, тихо, Илье. — Он из деревни под Чэнду. У него бабушка была шаманкой. Он мне рассказывал. В детстве он сидел с ней у костра по вечерам, и она рассказывала, что раньше люди умели слышать землю. — Он помолчал. — Он двадцать лет не вспоминал об этом. Он член партии. Он офицер.

Ван ничего не сказал. Только поднял руку и вытер щёку. Планшет в другой руке был выключен.

Хейл вернулся через двадцать минут. Убрал телефон.

— Я доложил, — сказал он. — Всё. Как есть. Мост, качели, колокол, чаша. Я сказал — я требую остановить бурение. Немедленно. На всех скважинах. наших. Китайских. Русских. Я сказал — я подаю в отставку, если не остановят.

Он помолчал.

— Мне сказали — рассмотрят.

— Это хорошо? — спросила Ребекка.

Хейл посмотрел на неё.

— Доктор Холт, — сказал он. — Когда в Вашингтоне говорят «рассмотрят» — это значит, что решение уже принято. И не в твою пользу.

* * *

Ночью они спали на берегу. На траве, под звёздами, у ниши с горячей чашей. Им принесли хлеб. Тёплый. Воду. Одежда — тонкие, белые, мягче шёлка.

Никто не спрашивал, кто они.

Илья не спал. Лежал на спине, смотрел на звёзды. Ждал Ориона — в июле он поднимается только перед рассветом. С пустым местом на плече.

В три часа ночи — он посмотрел на часы потом — вода в озере задрожала.

Он почувствовал это раньше, чем услышал. Земля под спиной — дрогнула. Слабо. Едва заметно. Как дрожит пол, когда под ним проходит поезд метро.

Раз-два-три.

Пауза.

Раз-два-три-четыре.

Пауза.

Раз.

Он сел.

По всему берегу, по всем террасам, по всем склонам — миллион людей проснулся. Разом. Беззвучно. Сели. Подняли головы.

Озеро — неподвижное, зеркальное, весь вечер без единой волны — пошло рябью. От берега. Кругами. Ровными, правильными. И круги, встречаясь, складывались в узор.

Шестиугольник.

Здесь. В тишине. В ста двадцати километрах от ближайшей базы. Там, где колокол не должен был звенеть.

Лю Вэй лежал рядом. Тоже сел. Смотрел на воду.

— Китайская скважина, — сказал он тихо. — Тысяча пятьсот метров. Они собирались пройти её сегодня ночью. Я знал. — Он помолчал. — Я не думал, что будет слышно здесь.

Илья смотрел на шестиугольники на чёрной воде.

Слышно здесь.

Значит — уже слышно везде.

У подножия башни, на своём камне с семью точками, сидел старик. Не спал. Смотрел на озеро.

Потом медленно повернул голову. И посмотрел на Илью.

И Илья почувствовал. Не тёплый камень. Не каплю в воду. Не мёд с ложки.

Холодную воду по спине.

Страх.

Глава 12. Манифест

Хейла сняли с командования шестого июля.

Ребекка сообщила об этом Илье по радио в тот же вечер. Голос у неё был ровным — слишком ровным.

— Официально — по состоянию здоровья, — сказала она. — Переутомление. Стресс. Рекомендован отдых. — Пауза. — Его увезли на вертолёте утром. Он успел зайти ко мне. Сказал: «Доктор Холт, я тридцать пять лет служу. Меня ни разу не снимали. Ни в Ираке, ни в Афганистане. А сняли — за то, что я попросил остановить бурение». — Она помолчала. — Он сказал ещё: «Передайте русскому — я не жалею».

— Кто вместо него?

— Контр-адмирал Бэкстер. Прилетел с Гавайев. — Ребекка помолчала. — Молодой. Быстрый. С ним прилетели инженеры. И роботизированный буровой комплекс уже на подходе. Будет через пять дней.

— А Тайлер?

— Тайлера отправили домой. В Огайо. Вместе с тремя бурильщиками. «Для реабилитации». — Голос у неё дрогнул. — Ильа, им запретили говорить. Всем четверым. Подписка о неразглашении. Тайлер не хотел подписывать. Ему сказали — тогда трибунал.

Илья молчал.

— Он подписал, — сказала Ребекка. — Ему двадцать два года. У него сестра шести лет. Он подписал.

* * *

Китайцы бурить не перестали.

Это Илья узнал от Лю Вэя — на следующий день, по той же научной частоте, которую все слушали и которую никто не трогал, потому что каждая сторона думала, что подслушивает других.

— Тысяча восемьсот метров, — сказал Лю Вэй. Голос был усталым. — Сегодня. Адмирал Чэнь получил приказ из Пекина — продолжать. — Пауза. — Ван написал отчёт. Про озеро. Про башню. Про чашу. Про резонанс. Всё — правду. Я читал, он мне показал. Отчёт ушёл наверх. — Пауза. — Вана отозвали. Вчера. На транспорте. Вместо него прислали другого.

— А ты?

— Я — геометрия, — сказал Лю Вэй. — Меня не отзывают. Я им нужен. Чтобы считать, где бурить, чтобы не... — Он запнулся. — Чтобы не было слышно на озере. Как будто это возможно.

— Лю, — сказал Илья. — Мы должны что-то сделать.

— Что?

Илья долго молчал.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Но я знаю одного человека, который знает.

* * *

Горелов взял трубку после первого гудка. Как будто ждал.

— Ланской. — Голос был хриплым, но твёрдым. Сильнее, чем в Боткинской. — Вера мне рассказала. Колокол. Озеро. Чаша. — Пауза. — Резонанс, да?

— Резонанс.

— Я посчитал, — сказал Горелов.

Илья замер.

— Что?

— Посчитал, — повторил Горелов. — Пока вы там летали на вертолётах. У меня есть данные Ксении Ли — она присылала Ветровой, а Ветрова мне. Гул на сейсмографах Тихого

океана. С двенадцатого июня. Каждый день. — Он закашлялся. Отдышался. — Ланской, вы знаете, что Земля гудит всегда?

— Собственные колебания. После землетрясений.

— Не только после, — сказал Горелов. — Всегда. Даже когда никаких землетрясений нет. Это открыли японцы в девяносто восьмом году. Тихий, постоянный гул. С периодами в несколько минут. Земля всё время немножко звенит, как колокол, по которому постоянно чуть-чуть постукивают. Сначала не понимали — чем. Потом поняли: океаном. Волны бьют о берега, о шельф, о дно — и раскачивают всю планету. Чуть-чуть. Постоянно. Её называли — гул Земли. — Он помолчал. — Так вот. На этот гул у нас теперь наложился ещё один. С периодом три часа сорок одна минута. Я построил график. Амплитуда — по дням. С двенадцатого июня, когда материк стал целым.

— И?

— Растёт, — сказал Горелов. — Экспоненциально. Удваивается каждые одиннадцать дней. — Пауза. — Ланской, это точно как в учебнике. Резонанс с накачкой. Каждая скважина — накачка. Каждый метр глубже — накачка сильнее. А потери — маленькие. Очень маленькие. У Земли очень высокая добротность. Она звенит долго. Затухает медленно. Как хороший колокол. Если ударить и отпустить — будет гудеть месяцами.

— Сколько у нас времени?

Горелов долго молчал.

— Я не знаю, где у неё предел, — сказал он наконец. — Где она «закричит». Этого никто не знает. Земная кора — не стекло, она не разобьётся от одной ноты. Но в коре есть разломы. Тысячи. Каждый — натянутая пружина. Каждый — ждёт толчка. Если гул станет достаточно сильным — он станет этим толчком. Для всех сразу. — Он помолчал. — По моим грубым оценкам, если бурение продолжится в том же темпе... Месяц. Может быть, два. Потом начнутся землетрясения. Не одно — много. Везде. На одной ноте.

Илья закрыл глаза.

— А если остановить?

— Если остановить — гул начнёт затухать. Медленно. Месяцами. Но — затухать. — Горелов закашлялся. — Ланской, всё очень просто. Это как с качелями. Перестаньте толкать — и они остановятся. Не сразу. Но остановятся.

— Они не перестанут, — сказал Илья. — Американцы сняли Хейла. Китайцы отозвали Вана. Наши... наши пока стоят, но это вопрос недели. Это — платина, Арсений Викторович. Сорок граммов на тонну.

Горелов долго молчал. Илья слышал в трубке его дыхание — хриплое, частое.

— Ланской, — сказал он наконец. — Вы знаете, что такое манифест Рассела — Эйнштейна?

* * *

Илья знал. Все физики знали.

Пятьдесят пятый год. Холодная война в самом разгаре. Американцы и Советы взрывают водородные бомбы одну за другой — в пустынях, на атоллах, в Арктике. Каждая — в сотни раз мощнее хиросимской. Над Тихим океаном выпадают радиоактивные осадки. Японские рыбаки на шхуне «Счастливый дракон» в ста шестидесяти километрах от испытания получают смертельную дозу. Мир катится к войне, после которой не останется никого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.